

СКАЗКИ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

5-6 КЛАСС

Сказки русских писателей. 5-6 класс

Владимир Фёдорович Одоевский, Павел Владимирович Засодимский, Михаил Юрьевич Лермонтов, Иван Васильевич Киреевский, Иван Сергеевич Тургенев, Владимир Галактионович Короленко, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Алексей Николаевич Толстой, Павел Петрович Бажов, Василий Иванович Немирович-Данченко, Николай Семёнович Лесков, Антоний Погорельский, Всеволод Михайлович Гаршин, Владимир Иванович Даль, Леонид Николаевич Андреев

Аннотация
Сказки русских писателей: 5–6 класс
Антоний Алексеевич Погорельский. (1787–1836)
Лафертовская маковница

Владимир Иванович Даль. (1801–1872)

Сказка о Иване Молодом Сержанте, Удалой Голове, без роду, без племени, спроста без прозвища

Сказка о бедном Кузе Бесталанной Голове и о перемётчике Будунтае

Владимир Фёдорович Одоевский. (1804–1869)

Сказка о том, по какому случаю коллежскому советнику Ивану Богдановичу Отношенью не удалося в Светлое воскресенье поздравить своих начальников с праздником

Иван Васильевич Киреевский. (1806–1856)

Опал

Михаил Юрьевич Лермонтов. (1814–1841)

Ашик-кериб. Турецкая сказка

Иван Сергеевич Тургенев. (1818–1883)

Капля жизни

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. (1826–1889)

Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил

Карась-идеалист

Николай Семёнович Лесков. (1831–1895)

Час воли Божией

Павел Владимирович Засодимский. (1843–1912)

Разрыв-трава

Всеволод Михайлович Гаршин. (1855–1888)

Сказка о жабе и розе

Василий Иванович Немирович-Данченко. (1844–1936)

Засыпанный колодец

Леонид Николаевич Андреев. (1871–1919)

Рассказ змеи о том, как у неё появились ядовитые зубы

Покой

Павел Петрович Бажов. (1879–1950)

Малахитовая шкатулка

Каменный цветок

Алексей Николаевич Толстой. (1883–1945)

Русалка

Ведьмак

Соломенный жених

Проклятая десятина

Звериный царь

Аннотация

В книге собраны лучшие классические сказки русских писателей, рекомендованные для прочтения в 5-6 классах.

Здесь вы найдете произведения Антония Погорельского, Владимира Даля, Владимира Одоевского, Ивана Киреевского, Михаила Лермонтова, Ивана Тургенева, Михаила Салтыкова-Щедрина, Николая Лескова, Павла Засодимского, Всеволода Гаршина, Владимира Немировича-Данченко, Леонида Андреева, Павла Бажова и Алексея Толстого.

Сказки русских писателей: 5–6 класс

В оформлении обложки использованы фрагменты работ художника *Сергея Соломко*



© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2024

Антоний Алексеевич Погорельский
(1787–1836)

Лафертовская маковница

Лет за пятнадцать пред сожжением Москвы недалеко от Проломной заставы стоял небольшой деревянный домик с пятью окошками в главном фасаде и с небольшою над средним окном светлицею. Посреди маленького дворика, окружённого ветхим забором, виден был колодезь. В двух углах стояли полуразвалившиеся анбары, из которых один служил пристанищем нескольким индейским и русским курам, в мирном согласии разделявшим укреплённую поперёк анбара веху. Перед домом из-за низкого палисадника поднимались две или три рябины и, казалось, с пренебрежением смотрели на кусты чёрной смородины и малины, растущие у ног их. Подле самого крыльца выкопан был в земле небольшой погреб для хранения съестных припасов.

В сей-то убогий домик переехал жить отставной почтальон Онуфрич с женою Ивановною и с дочерью Марьею. Онуфрич, будучи ещё молодым человеком, лет двадцать прослужил в поле и дослужился до ефрейторского чина; потом столько же лет верою и правдою продолжал службу в московском почтамте; никогда, или, по крайней

мере, ни за какую вину, не бывал штрафован и наконец вышел в чистую отставку и на инвалидное содержание. Дом был его собственный, доставшийся ему по наследству от недавно скончавшейся престарелой его тётки. Сия старушка, при жизни своей, во всей Лафертовской части известна была под названием *Лафертовской Маковницы*; ибо промысел её состоял в продаже медовых маковых лепёшек, которые умела она печь с особенным искусством. Каждый день, какая бы ни была погода, старушка выходила рано поутру из своего домика и направляла путь к Проломной заставе, имея на голове корзинку, наполненную маковниками. Прибыв к заставе, она расстилала чистое полотенце, перевёртывала вверх дном корзинку и в правильном порядке раскладывала свои маковники. Таким образом сидела она до вечера, не предлагая никому своего товара и продавая оный в глубоком молчании. Лишь только начинало смеркаться, старушка собирала лёпешки свои в корзинку и отправлялась медленными шагами домой. Солдаты, стоящие на карауле, любили её, ибо она иногда потчевала их безденежно сладкими маковниками.

Но этот промысел старушки служил только личиною, прикрывавшею совсем иное ремесло.

В глубокий вечер, когда в прочих частях города начинали зажигать фонари, а в окрестностях её дома расстилалась ночная темнота, люди разного звания и состояния робко приближались к хижине и тихо стучались в калитку. Большая цепная собака Султан громким лаем провозглашала чужих. Старушка отворяла дверь, длинными костяными пальцами брала за руку посетителя и вводила его в низкие хоромы. Там, при мелькающем свете лампады, на шатком дубовом столе лежала колода карт, на которых от частого употребления едва можно было различить бубны от червей; на лежанке стоял кофейник из красной меди, а на стене висело решето. Старушка, предварительно приняв от гостя добровольное подаяние — смотря по обстоятельствам, — бралась за карты или прибегала к кофейнику и к решету. Из красноречивых её уст изливались рекою пророчества о будущих благах, и упоённые сладкою надеждою посетители при выходе из дома нередко вознаграждали её вдвое более, нежели при входе.

Таким образом, жизнь её протекала покойно в мирных сих занятиях. Правда, что завистливые соседи называли её за глаза колдуньею и ведьмою; но зато в глаза ей низко кланялись, умильно

улыбались и величали бабушкою. Такое к ней уважение отчасти произошло оттого, что когда-то один из соседей вздумал донести полиции, будто бы Лафертовская Маковница занимается непозволительным гаданием в карты и на кофе и даже знается с подозрительными людьми! На другой же день явился полицейский, вошёл в дом, долго занимался строгим обыском и наконец при выходе объявил, что не нашёл ничего. Неизвестно, какие средства употребила почтенная старушка в доказательство своей невинности; да и не в том дело! Довольно того, что донос найден был неосновательным. Казалось, что сама судьба вступилась за бедную Маковницу, ибо скоро после того сын доносчика, резвый мальчик, бегая по двору, упал на гвоздь и выколол себе глаз; потом жена его нечаянно поскользнулась и вывихнула ногу; наконец, в довершение всех несчастий, лучшая корова их, не будучи прежде ничем больна, вдруг пала. Отчаянный сосед насилу умилостивил старушку слезами и подарками, — и с того времени всё соседство обходилось с нею с должным уважением. Те только, которые, переменяя квартиру, переселялись далеко от Лафертовской части, как, например: на Пресненские пруды, в Хамовники или на Пятницкую, — те только

осмеливались громко называть Маковницу ведьмою. Они уверяли, что сами видали, как в тёмные ночи налетал на дом старухи большой ворон с яркими, как раскалённый уголь, глазами; иные даже божились, что любимый чёрный кот, каждое утро провожающий старуху до ворот и каждый вечер её встречающий, не кто иной как сам нечистый дух.

Слухи эти наконец дошли и до Онуфрича, который, по должности своей, имел свободный доступ в передние многих домов. Онуфрич был человек набожный, и мысль, что родная тётка его свела короткое знакомство с нечистым, сильно потревожила его душу. Долго не знал он, на что решиться.

— Ивановна! — сказал он наконец в один вечер, подымая ногу и вступая на смиренное ложе. — Ивановна, дело решено! Завтра поутру пойду к тётке и постараюсь уговорить её, чтоб она бросила проклятое ремесло своё. Вот она уже, слава богу, добивает девятый десяток; а в такие лета пора принесть покаяние, пора и о душе подумать!

Это намерение Онуфрича крайне не понравилось жене его. Лафертовскую Маковницу все считали богатою, и Онуфрич был единственный её наследник.

— Голубчик! — отвечала она ему, поглаживая его по наморщенному лбу, — сделай милость, не мешайся в чужие дела. У нас и своих забот довольно: вот уже теперь и Маша подрастает; придёт пора выдать её замуж, а где нам взять женихов без приданого? Ты знаешь, что тётка твоя любит дочь нашу; она ей крёстная мать, и когда дело дойдёт до свадьбы, то не от кого иного, кроме её, ожидать нам милостей. Итак, если ты жалеешь Машу, если любишь меня хоть немножко, то оставь добрую старушку в покое.

На другое утро, когда ещё Ивановна покоилась в объятиях глубокого сна, Онуфрич тихонько поднялся с постели, смиренно помолился иконе Николая Чудотворца, вытер суконкою блистающего на картузе орла и почтальонский свой знак и надел мундир. Потом, подкрепив сердце большою рюмкою ерофеича, вышел в сени. Там прицепил он тяжёлую саблю свою, ещё раз перекрестился и отправился к Проломной заставе.

Старушка приняла его ласково.

— Эй, эй! племянничек, — сказала она ему, — какая напасть выгнала тебя так рано из дому да ещё в такую даль! Ну, ну, добро пожаловать: просим садиться.

Онуфрич сел подле неё на скамью, закашлял

и не знал, с чего начать. В эту минуту дряхлая старушка показалась ему страшнее, нежели лет тридцать тому назад турецкая батарея. Наконец он вдруг собрался с духом.

— Тётушка! — сказал он ей твёрдым голосом, — я пришёл поговорить с вами о важном деле.

— Говори, мой милой, — отвечала старушка, — а я послушаю.

— Тётушка! недолго уже вам остаётся жить на свете; пора покаяться, пора отказаться от Сатаны и от наваждений его.

Старушка не дала ему продолжать. Губы её посинели, глаза налились кровью, нос громко начал стукаться об бороду.

— Вон из моего дому! — закричала она задыхающимся от злости голосом. — Вон, окаянный!.. и чтоб проклятые ноги твои навсегда подкосились, когда опять ты ступишь на порог мой!

С того времени все связи между старушкою и семейством Онуфрича совершенно прервались. Таким образом прошло несколько лет. Маша пришла в совершенный возраст и была прекрасна, как майский день; молодые люди за нею бегали; старики, глядя на неё, жалели о прошедшей своей молодости. Но Маша была бедна, и женихи не являлись. Ивановна чаще стала вспоминать о

старой тётке и никак не могла утешиться.

— Отец твой, — часто говаривала она Марье, — тогда рехнулся в уме! Чего ему было соваться туда, где его не спрашивали? Теперь сидеть тебе в девках!

Лет двадцать тому назад, когда Ивановна была молода и хороша, она бы не отчаялась уговорить Онуфрича, чтоб он попросил прощения у тётушки и с нею примирился; но с тех пор как розы на её ланитах стали уступать место морщинам, Онуфрич вспомнил, что муж есть глава жены своей, — и бедная Ивановна с горестью принуждена была отказаться от прежней власти. Онуфрич не только сам никогда не говорил о старушке, но строго запретил жене и дочери упоминать о ней. Несмотря на то, Ивановна вознамерилась сблизиться с тёткою. Не смея действовать явно, она решилась тайно от мужа побывать у старушки и уверить её, что ни она, ни дочь нимало не причастны дурачеству её племянника.

Наконец случай поблагоприятствовал её намерению: Онуфрича на время откомандировали на место заболевшего станционного смотрителя, и Ивановна с трудом при прощанье могла скрыть радость свою. Не успела она проводить дорогого мужа за заставу, не успела ещё отереть глаз от

слёз, как схватила дочь свою под руку и поспешила с нею домой.

— Машенька! — сказала она ей, — скорей оденься получше; мы пойдём в гости.

— К кому, матушка? — спросила Маша с удивлением.

— К добрым людям, — отвечала мать. — Скорей, Машенька; не теряй времени; теперь уже смеркается, а нам идти далеко.

Дорогою Ивановна открыла дочери, что они идут к тётке.

— Пока дойдём мы до её дома, — сказала она, — сделается темно, и мы, верно, её застанем. Смотри же, Маша, поцелуй у тётки ручку и скажи, что ты соскучилась, давно не видав её. Она сначала будет сердиться, но я её умилостивлю; ведь не мы виноваты, что мой старик спятил с ума.

В сих разговорах они приблизились к дому старушки. Сквозь закрытые ставни сверкал огонь.

— Смотри же, не забудь поцеловать ручку, — повторила ещё Ивановна, подходя к двери. Султан громко залаял. Калитка отворилась, старушка протянула руку и ввела их в комнату. Она приняла их за обыкновенных вечерних гостей своих.

— Милостивая государыня тётушка! — начала речь Ивановна.

— Убирайтесь к чёрту! — закричала старуха, узнав племянницу. — Зачем вы сюда пришли? Я вас не знаю и знать не хочу.

Ивановна начала рассказывать, бранить мужа и просить прощенья; но старуха была неумолима.

— Говорю вам, убирайтесь! — кричала она, — а не то!.. — Она подняла на них руку.

Маша испугалась, вспомнила приказание матушки и, громко рыдая, бросилась целовать её руки.

— Бабушка сударыня! — говорила она, — не гневайтесь на меня; я так рада, что опять вас увидела!

Слёзы Машины наконец тронули старуху.

— Перестань плакать, — сказала она, — я на тебя не сердита: знаю, что ты ни в чём не виновата, моё дитятко! Не плачь же, Машенька! Как ты выросла, как похорошела!

Она потрепала её по щеке.

— Садись подле меня, — продолжала она, — милости просим садиться, Марфа Ивановна! Каким образом вы обо мне вспомнили после столь долгого времени?

Ивановна обрадовалась этому вопросу и начала рассказывать: как она уговаривала мужа,

как он её не послушался, как запретил им ходить к тётушке, как они огорчались, и как, наконец, она воспользовалась отсутствием Онуфрича, чтоб засвидетельствовать тётушке нижайшее почтение.

Старушка с нетерпением выслушала рассказы Ивановны.

— Быть так, — сказала она ей, — я не злопамятна; но если вы искренно желаете, чтоб я забыла прошедшее, то обещайтесь, что во всём будете следовать моей воле! С этим условием я приму вас опять в свою милость и сделаю Машу счастливою.

Ивановна поклялась, что все её приказания будут свято исполнены.

— Хорошо, — молвила старуха, — теперь идите с богом; а завтра ввечеру пускай Маша придёт ко мне одна, не ранее, однако, половины двенадцатого часа. Слышишь ли, Маша? Приходи одна.

Ивановна хотела было отвечать, но старуха не дала ей выговорить ни слова. Она встала, выпроводила их из дому и захлопнула за ними дверь.

Ночь была тёмная. Долго шли они, взявшись за руки, не говоря ни слова. Наконец, подходя уже к зажжённым фонарям, Маша робко оглянулась и прервала молчание.

— Матушка! — сказала она вполголоса, — неужели я завтра пойду одна к бабушке, ночью и в двенадцатом часу?..

— Ты слышала, что приказано тебе прийти одной. Впрочем, я могу проводить тебя до половины дороги.

Маша замолчала и предалась размышлениям. В то время, когда отец её поссорился с своей тёткой, Маше было не более тринадцати лет; она тогда не понимала причины этой ссоры и только жалела, что её более не водили к доброй старушке, которая всегда её ласкала и потчевала медовым маком. После того, хотя и пришла уже она в совершенный возраст, но Онуфрич никогда не говорил ни слова об этом предмете; а мать всегда отзывалась о старушке с хорошей стороны и всю вину слагала на Онуфрича. Таким образом, Маша в тот вечер с удовольствием последовала за матерью. Но когда старуха приняла их с бранью, когда Маша при дрожащем свете лампады взглянула на посиневшее от злости лицо её, тогда сердце в ней содрогнулось от страха. В продолжение длинного рассказа Ивановны воображению её представилось, как будто в густом тумане, всё то, что в детстве своём она слышала о бабушке… и если б в это время старуха не держала её за руку,

то, может быть, она бросилась бы бежать из дому. Итак, можно вообразить, с каким чувством она помышляла о завтрашнем дне.

Возвратясь домой, Маша со слезами просила мать, чтоб она не посылала её к бабушке; но просьбы её были тщетны.

— Какая же ты дура, — говорила ей Ивановна, — чего тут бояться? Я тихонько провожу тебя почти до дому, дорогой тебя никто не тронет, а беззубая бабушка тоже тебя не съест!

Следующий день Маша весь проплакала. Начало смеркаться — и ужас её увеличился; но Ивановна как будто ничего не примечала, — она почти насильно её нарядила.

— Чем более ты будешь плакать, тем для тебя хуже, — сказала она. — Что-то скажет бабушка, когда увидит красные твои глаза!

Между тем кукушка на стенных часах прокричала одиннадцать раз. Ивановна набрала в рот холодной воды, брызнула Маше в лицо и потащила её за собою.

Маша следовала за матерью, как жертва, которую ведут на заклание. Сердце её громко билось, ноги через силу двигались, и таким образом они прибыли в Лафертовскую часть. Ещё несколько минут шли они вместе; но лишь только Иванов-

на увидела мелькающий вдали между ставней огонь, как пустила руку Машину.

— Теперь иди одна, — сказала она, — далее я не смею тебя провожать.

Маша в отчаянье бросилась к ней в ноги.

— Полно дурачиться! — вскричала мать строгим голосом. — Что тебе сделается? будь послушна и не вводи меня в сердце!

Бедная Маша собрала последние силы и тихими шагами удалилась от матери. Тогда был в исходе двенадцатый час; никто с нею не повстречался, и нигде, кроме старушкина дома, не видно было огня. Казалось, будто вымерли все жители той части города; мрачная тишина царствовала повсюду; один только глухой шум от собственных её шагов отзывался у неё в ушах. Наконец пришла она к домику и трепещущею рукою дотронулась до калитки… Вдали на колокольне Никиты-мученика ударило двенадцать часов. Звуки колокола в тишине чёрной ночи дрожащим гулом расстилались по воздуху и доходили до её слуха. Внутри домика кот громко промяукал двенадцать раз… Она сильно вздрогнула и хотела бежать… но вдруг раздался громкий лай цепной собаки, заскрипела калитка — и длинные пальцы старухи схватили её за руку. Маша не помнила,

как взошла на крылечко и как очутилась в бабушкиной комнате… Пришед немного в себя, она увидела, что сидит на скамье; перед ней стояла старуха и тёрла виски её муравьиным спиртом.

— Как ты напугана, моя голубка! — говорила она ей. — Ну, ну! темнота на дворе самая прекрасная; но ты, моё дитятко, ещё не узнала её цены и потому боишься. Отдохни немного; пора нам приняться за дело!

Маша не отвечала ни слова; утомлённые от слёз глаза её следовали за всеми движениями бабушки. Старуха подвинула стол на средину комнаты, из стенного шкафа вынула большую тёмно-алую свечку, зажгла её и прикрепила к столу, а лампаду потушила. Комната осветилась розовым светом. Всё пространство от полу до потолка как будто наполнилось длинными нитками кровавого цвета, которые тянулись по воздуху в разных направлениях — то свёртывались в клуб, то опять развивались, как змеи…

— Прекрасно! — сказала старушка и взяла Машу за руку. — Теперь иди за мною.

Маша дрожала всеми членами; она боялась идти за бабушкой, но ещё более боялась её рассердить. С трудом поднялась она на ноги.

— Держись крепко за полы мои, — прибавила

старуха, — и следуй за мной… не бойся ничего!

Старуха начала ходить кругом стола и протяжным напевом произносила непонятные слова; перед нею плавно выступал чёрный кот с сверкающими глазами и с поднятым вверх хвостом. Маша крепко зажмурилась и трепещущими шагами шла за бабушкой. Трижды три раза старуха обошла вокруг стола, продолжая таинственный напев свой, сопровождаемый мурлыканьем кота. Вдруг она остановилась и замолчала… Маша невольно раскрыла глаза — те же кровавые нитки всё ещё растягивались по воздуху. Но, бросив нечаянно взгляд на чёрного кота, она увидела, что на нём зелёный мундирный сюртук; а на место прежней котовой круглой головки показалось ей человеческое лицо, которое, вытараща глаза, устремляло взоры прямо на неё. Она громко закричала и без чувств упала на землю…

Когда она опомнилась, дубовый стол стоял на старом месте, темно-алой свечки уже не было и на столе по-прежнему горела лампада; бабушка сидела подле неё и смотрела ей в глаза, усмехаясь с весёлым видом.

— Какая же ты, Маша, трусиха! — говорила она ей. — Но до того нужды нет; я и без тебя кончила дело. Поздравляю тебя, родная, — поздравляю

тебя с женихом! Он человек очень мне знакомый и должен тебе нравиться. Маша, я чувствую, что недолго мне осталось жить на белом свете; кровь моя уже слишком медленно течёт по жилам и временем сердце останавливается… Мой верный друг, — продолжала старуха, взглянув на кота, — давно уже зовёт меня туда, где остылая кровь моя опять согреется. Хотелось бы мне ещё немного пожить под светлым солнышком, хотелось бы ещё полюбоваться золотыми денежками… но последний час мой скоро стукнет. Что ж делать! чему быть, тому не миновать.

— Ты, моя Маша, — продолжала она, вялыми губами поцеловав её в лоб, — ты после меня обладать будешь моими сокровищами; тебя я всегда любила и охотно уступаю тебе место! Но выслушай меня со вниманием: придёт жених, назначенный тебе тою силою, которая управляет большею частию браков… Я для тебя выпросила этого жениха; будь послушна и выдь за него. Он научит тебя той науке, которая помогла мне накопить себе клад; общими вашими силами он нарастёт ещё вдвое, — и прах мой будет покоен. Вот тебе ключ; береги его пуще глаза своего. Мне не позволено сказать тебе, где спрятаны мои деньги; но как скоро ты выйдешь замуж, всё тебе

откроется!

Старуха сама повесила ей на шею маленький ключ, надетый на чёрный снурок. В эту минуту кот громко промяукал два раза.

— Вот уже настал третий час утра, — сказала бабушка. — Иди теперь домой, дорогое моё дитя! Прощай! может быть, мы уже не увидимся… — Она проводила Машу на улицу, вошла опять в дом и затворила за собой калитку.

При бледном свете луны Маша скорыми шагами поспешила домой. Она была рада, что ночное её свидание с бабушкой кончилось, и с удовольствием помышляла о будущем своём богатстве. Долго Ивановна ожидала её с нетерпением.

— Слава богу! — сказала она, увидев её. — Я уже боялась, чтоб с тобою чего-нибудь не случилось. Рассказывай скорей, что ты делала у бабушки?

Маша готовилась повиноваться, но сильная усталость мешала ей говорить. Ивановна, заметив, что глаза её невольно смыкаются, оставила до другого утра удовлетворение своего любопытства: сама раздела любезную дочку и уложила её в постель, где она вскоре заснула глубоким сном.

Проснувшись на другой день, Маша насилу собралась с мыслями. Ей казалось, что всё случившееся с нею накануне не что иное, как тяжёлый

сон; когда же взглянула нечаянно на висящий у неё на шее ключ, то удостоверилась в истине всего, ею виденного, — и обо всём с подробностью рассказала матери. Ивановна была вне себя от радости.

— Видишь ли теперь, — сказала она, — как хорошо я сделала, что не послушалась твоих слёз?

Весь тот день мать с дочерью провели в сладких мечтах о будущем благополучии.

Против всякого ожидания Онуфрич приехал на следующий день поздно ввечеру. Станционный смотритель, которого должность ему приказано было исправлять, нечаянно выздоровел, и он воспользовался первою едущей в Москву почтою, чтоб возвратиться домой.

Не успел он ещё рассказать жене и дочери, по какому случаю он так скоро воротился, как вошёл к ним в комнату прежний его товарищ, который тогда служил будочником в Лафертовской части, неподалёку от дома Маковницы.

— Тётушка приказала долго жить! — воскликнул Онуфрич, смиренно сложив руки. — Помолимся за покойницу, она имеет нужду в наших молитвах!

Он начал читать молитву. Ивановна с дочерью крестились и клали земные поклоны; но на уме у

них были сокровища, их ожидающие. Вдруг они обе вздрогнули в одно время… Им показалось, что покойница с улицы смотрит к ним в комнату и им кланяется! Онуфрич и будочник, молившиеся с усердием, ничего не заметили.

Несмотря на то что было уже поздно, Онуфрич отправился в дом покойной тётки. Дорогою прежний товарищ его рассказывал всё, что ему известно было о её смерти.

— Вчера, — говорил он, — тётка твоя в обыкновенное время пришла к себе; соседи видели, что у неё в доме светился огонь. Но сегодня она уже не являлась у Проломной, и из этого заключили, что она нездорова. Наконец под вечер решились войти к ней в комнату, но её не застали уже в живых — так иные рассказывают о смерти старухи. Другие утверждают, что в прошедшую ночь что-то необыкновенное происходило в её доме. Сильная буря, говорят, бушевала около хижины, тогда как везде погода стояла тихая; собаки из всего околотка собрались перед её окном и громко выли; мяуканье её кота слышно было издалека… Что касается до меня, то я нынешнюю ночь спокойно проспал; но товарищ мой, стоявший на часах, уверяет, что он видел, как с самого Введенского кладбища прыгающие по земле огоньки длин-

ными рядами тянулись к её дому и, доходя до калитки, один за другим, как будто проскакивая под неё, исчезали. Необыкновенный шум, свист, хохот и крик, говорят, слышен был в её доме до самого рассвета. Странно, что до сих пор нигде не могли отыскать чёрного её кота!

Онуфрич с горестию внимал рассказу будочника, не отвечая ему ни слова. Таким образом, пришли они в дом покойницы. Услужливые соседки, забыв страх, который внушала им старушка при жизни, успели её уже омыть и одеть в праздничное платье. Когда Онуфрич вошёл в комнату, старушка лежала на столе. В головах у ней сидел дьячок и читал псалтырь. Онуфрич, поблагодарив соседок, послал купить восковых свеч, заказал гроб, распорядился, чтоб было что попить и поесть желающим проводить ночь у покойницы, и отправился домой. Выходя из комнаты, он никак не мог решиться поцеловать у тётушки руку.

В следующий день назначено быть похоронам. Ивановна для себя и для дочери взяла напрокат чёрные платья, и обе явились в глубоком трауре. Сначала всё шло надлежащим порядком. Одна только Ивановна, прощаясь с тёткою, вдруг отскочила назад, побледнела и сильно задрожала.

Она уверяла всех, что ей сделалось дурно; но после того тихонько призналась Маше, что ей показалось, будто покойница разинула рот и хотела схватить её за нос. Когда же стали поднимать гроб, то он сделался так тяжёл, как будто налитой свинцом, и шесть широкоплечих почтальонов насилу могли его вынесть и поставить на дроги. Лошади сильно храпели, и с трудом можно было их принудить двигаться вперёд.

Эти обстоятельства и собственные замечания Маши подали ей повод к размышлениям. Она вспомнила, какими средствами сокровища покойницы были собраны, и обладание оными показалось ей не весьма лестным. В некоторые минуты ключ, висящий у неё на шее, как тяжёлый камень давил ей грудь, и она неоднократно принимала намерение всё открыть отцу и просить у него совета; но Ивановна строго за ней присматривала и беспрестанно твердила, что она всех их сделает несчастными, если не станет слушаться приказаний старушки. Демон корыстолюбия совершенно овладел душою Ивановны, и она не могла дождаться времени, когда явится суженый жених и откроет средство завладеть кладом. Хотя она и боялась думать о покойнице и хотя при воспоминании об ней холодный пот

выступал у неё на лице, но в душе её жадность к золоту была сильнее страха, и она беспрестанно докучала мужу, чтоб он переехал в Лафертовскую часть, уверяя, что всякий их осудит, если они жить будут на наёмной квартире тогда, когда у них есть собственный дом.

Между тем Онуфрич, отслужив свои годы и получив отставку, начал помышлять о покое. Мысль о доме производила в нём неприятное впечатление, когда вспоминал он о той, от которой он ему достался. Он даже всякий раз невольно вздрагивал, когда случалось ему вступать в комнату, где прежде жила старуха. Но Онуфрич был набожен и благочестив и верил, что никакие нечистые силы не имеют власти над чистою совестью; и потому, рассудив, что ему выгоднее жить в своём доме, нежели нанимать квартиру, он решился превозмочь своё отвращение и переехать. Ивановна сильно обрадовалась, когда Онуфрич велел переноситься в лафертовский дом.

— Увидишь, Маша, — сказала она дочери, — что теперь скоро явится жених. То-то мы заживём, когда у нас будет полна палата золота. Как удивятся прежние соседи наши, когда мы въедем к ним на двор в твоей карете, да ещё, может быть, и четвернёй!..

Маша молча на неё смотрела и печально улыбалась. С некоторых пор у нее совсем иное было на уме.

За несколько дней перед их разговором (они ещё жили на прежней квартире) Маша в одно утро задумавшись сидела у окна. Мимо её прошёл молодой, хорошо одетый мужчина, взглянул на неё и учтиво снял шляпу. Маша ему тоже поклонилась и, сама не знала отчего, вдруг закраснелась! Немного погодя тот же молодой человек прошёл назад, потом обернулся, прошёл ещё и опять воротился. Всякий раз он смотрел на неё, и у Маши всякий раз сильно билось сердце. Маше уже минуло семнадцать лет, но до сего времени никогда не случалось, чтоб у неё билось сердце, когда кто-нибудь проходил мимо окошек. Ей показалось это странным, и она после обеда села к окну — для того только, чтоб узнать, забьётся ли сердце, когда опять пройдёт молодой мужчина… Таким образом она просидела до вечера, однако никто не являлся. Наконец, когда подали огонь, она отошла от окна и целый вечер была печальна и задумчива; она досадовала, что ей не удалось повторить опыта над своим сердцем.

На другой день Маша только что проснулась, тотчас вскочила с постели, поспешно умылась,

оделась, помолилась Богу и села к окну. Взоры её устремлены были в ту сторону, откуда накануне шёл незнакомец. Наконец она его увидела: глаза его ещё издали её искали, а когда подошёл он ближе, взоры их как будто нечаянно встретились. Маша, забывшись, приложила руку к сердцу, чтоб узнать, бьётся ли оно?.. Молодой человек, заметив сие движение и, вероятно, не понимая, что оно значит, тоже приложил руку к сердцу… Маша опомнилась, покраснела и отскочила назад. После того она целый день уже не подходила к окну, опасаясь увидеть молодого человека. Несмотря на то, он не выходил у неё из памяти; она старалась думать о других предметах, но усилия её были напрасны.

Чтоб разбить мысли, она вздумала ввечеру идти в гости к одной вдове, жившей с ними в соседстве. Входя к ней в комнату, к крайнему удивлению, увидела она того самого незнакомца, которого тщетно забыть старалась. Маша испугалась, покраснела, потом побледнела и не знала, что сказать. Слёзы заблистали у ней в глазах. Незнакомец опять её не понял… он печально ей поклонился, вздохнул — и вышел вон. Она ещё более смешалась и с досады заплакала. Встревоженная соседка посадила её возле себя

и с участием спросила о причине её огорчения. Маша сама неясно понимала, о чём плакала, и потому не могла объявить причины; внутренно же она приняла твёрдое намерение сколько можно убегать незнакомца, который довёл её до слёз. Эта мысль её поуспокоила. Она вступила в разговор с соседкой и начала ей рассказывать о домашних своих делах и о том, что они, может быть, скоро переедут в Лафертовскую часть.

— Жаль мне, — сказала вдова, — очень жаль, что лишусь добрых соседей; и не я одна о том жалеть буду. Я знаю одного человека, который очень огорчится, когда узнает эту новость.

Маша опять покраснела; хотела спросить, кто этот человек, но не могла выговорить ни слова. Услужливая соседка, верно, угадала мысли её, ибо она продолжала так:

— Вы не знаете молодого мужчины, который теперь вышел из комнаты? Может быть, вы даже и не заметили, что он вчера и сегодня проходил мимо вашего дома; но он вас видел и нарочно зашёл ко мне, чтоб расспросить у меня об вас. Не знаю, ошибаюсь ли я или нет, а мне кажется, что вы крепко задели бедное его сердечко! Чего тут краснеть? — прибавила она, заметив, что у Маши разгорелись щёки. — Он человек молодой,

пригожий и, если нравится Машеньке, то, может быть, скоро дойдёт дело и до свадьбы.

При сих словах Машенька невольно вспомнила о бабушке. «Ах! — сказала она сама себе, — не это ли жених, мне назначенный?» Но вскоре мысль эта уступила место другой, не столь приятной. «Не может быть, — подумала она, — чтоб такой пригожий молодец имел короткую связь с покойницею. Он так мил, одет так щеголевато, что, верно, не умел бы удвоить бабушкина клада!» Между тем соседка продолжала ей рассказывать, что он хотя из мещанского состояния, но поведения хорошего и трезвого, и сидельцем в суконном ряду. Денег у него больших нет, зато жалованье получает изрядное, и кто знает, может быть, хозяин когда-нибудь примет его в товарищи!

— Итак, — прибавила она, — послушайся доброго совета: не отказывай молодцу. Деньги не делают счастья! Вот бабушка твоя, — прости, Господи, моё согрешение! — денег у неё было неведь сколько; а теперь куда всё это девалось?.. И чёрный кот, говорят, провалился сквозь землю — и деньги туда же!

Маша внутренно очень согласна была с мнением соседки; и ей также показалось, что лучше быть бедною и жить с любезным незнакомцем,

нежели богатой и принадлежать — бог знает кому! Она чуть было не открылась во всём; но, вспомнив строгие приказания матери и опасаясь собственной своей слабости, поспешно встала и простилась. Выходя уже из комнаты, она, однако, не могла утерпеть, чтоб не спросить об имени незнакомца.

— Его зовут Улияном, — отвечала соседка.

С этого времени Улиян не выходил из мыслей у Маши: всё в нём, даже имя, ей нравилось. Но чтоб принадлежать ему, надобно было отказаться от сокровищ, оставленных бабушкою. Улиян был не богат, и, «верно, — думала она, — ни батюшка, ни матушка не согласятся за него меня выдать!» В этом мнении ещё более она уверилась тем, что Ивановна беспрестанно твердила о богатстве, их ожидающем, и о счастливой жизни, которая тогда начнётся. Итак, страшась гнева матери, Маша решилась не думать больше об Улияне: она остерегалась подходить к окну, избегала всяких разговоров с соседкою и старалась казаться весёлою; но черты Улияна твёрдо врезались в её сердце.

Между тем настал день, в который должно было переехать в лафертовский дом. Онуфрич заранее туда отправился, приказав жене и доче-

ри следовать за ним с пожитками, уложенными ещё накануне. Подъехали двое роспусок; извозчики с помощию соседей вынесли сундуки и мебель. Ивановна и Маша, каждая взяла в руки по большому узлу, и маленький караван тихим шагом потянулся к Проломной заставе. Проходя мимо квартиры вдовы-соседки, Маша невольно подняла глаза: у открытого окошка стоял Улиян с поникшею головою; глубокая печаль изображалась во всех чертах его. Маша как будто его не заметила и отворотилась в противную сторону; но горькие слёзы градом покатились по бледному её лицу.

В доме давно уже ожидал их Онуфрич. Он подал мнение своё, куда поставить привезённую мебель, и объяснил им, каким образом он думает расположиться в новом жилище.

— В этом чулане, — сказал он Ивановне, — будет наша спальня; подле неё, в маленькой комнате, поставятся образа; а здесь будет и гостиная наша и столовая. Маша может спать наверху в светлице. Никогда, — продолжал он, — не случалось мне жить так на просторе; но не знаю, почему у меня сердце не на месте. Дай бог, чтоб мы здесь были так же счастливы, как в прежних тесных комнатах!

Ивановна невольно улыбнулась. «Дай срок! — подумала она, — в таких ли мы будем жить палатах!»

Радость Ивановны, однако, в тот же день гораздо поуменьшилась: лишь только настал вечер, как пронзительный свист раздался по комнатам и ставни застучали.

— Что это такое? — вскричала Ивановна.

— Это ветер, — хладнокровно отвечал Онуфрич, — видно, ставни неплотно запираются; завтра надобно будет починить.

Она замолчала и бросила значительный взгляд на Машу, ибо в свисте ветра находила она сходство с голосом старухи.

В это время Маша смиренно сидела в углу и не слыхала ни свисту ветра, ни стуку ставней — она думала об Улияне. Ивановне страшнее показалось то, что только ей одной послышался голос старухи. После ужина она вышла в сени, чтоб спрятать остатки от умеренного их стола; подошла к шкафу, поставила подле себя на пол свечку и начала устанавливать на полки блюда и тарелки. Вдруг услышала она подле себя шорох, и кто-то легонько ударил её по плечу… Она оглянулась… за нею стояла покойница в том самом платье, в котором её похоронили!.. Лицо её было

сердито; она подняла руку и грозила ей пальцем. Ивановна, в сильном ужасе, громко вскричала. Онуфрич и Маша бросились к ней в сени.

— Что с тобою делается? — закричал Онуфрич, увидя, что она была бледна как полотно и дрожала всеми членами.

— Тётушка! — сказала она трепещущим голосом… Она хотела продолжать, но тётушка опять явилась пред нею… лицо её казалось ещё сердитее — и она ещё строже ей грозила. Слова замерли на устах Ивановны…

— Оставь мёртвых в покое, — отвечал Онуфрич, взяв её за руку и вводя обратно в комнату. — Помолись Богу, и грёза от тебя отстанет. Пойдем, ложись в постель: пора спать!

Ивановна легла, но покойница всё представлялась её глазам в том же сердитом виде. Онуфрич, спокойно раздевшись, громко начал молиться, и Ивановна заметила, что по мере того, как она вслушивалась в молитвы, вид покойницы становился бледнее, бледнее — и наконец совсем исчез.

И Маша тоже беспокойно провела эту ночь. При входе в светлицу ей представилось, будто тень бабушки мелькала перед нею, — но не в том грозном виде, в котором являлась она Ивановне.

Лицо её было весело, и она умильно ей улыбалась. Маша перекрестилась — и тень пропала. Сначала она сочла это игрою воображения, и мысль об Улияне помогла ей разогнать мысль о бабушке; она довольно спокойно легла спать и вскоре заснула. Вдруг, около полуночи, что-то её разбудило. Ей показалось, что холодная рука гладила её по лицу… она вскочила. Перед образом горела лампада, и в комнате не видно было ничего необыкновенного; но сердце в ней трепетало от страха: она внятно слышала, что кто-то ходит по комнате и тяжело вздыхает… Потом как будто дверь отворилась и заскрипела… и кто-то сошёл вниз по лестнице.

Маша дрожала как лист. Тщетно старалась она опять заснуть. Она встала с постели, поправила светильню лампады и подошла к окну. Ночь была тёмная. Сначала Маша ничего не видала; потом показалось ей, будто на дворе, подле самого колодца, вспыхнули два небольшие огонька. Огоньки эти попеременно то погасали, то опять вспыхивали; потом они как будто ярче загорели, и Маша ясно увидела, как подле колодца стояла покойная бабушка и манила её к себе рукою… За нею на задних лапах сидел чёрный кот, и оба глаза его в густом мраке светились, как огни. Маша

отошла прочь от окна, бросилась на постель и крепко закутала голову в одеяло. Долго казалось ей, будто бабушка ходит по комнате, шарит по углам и тихо зовёт её по имени. Один раз ей даже представилось, что старушка хотела сдёрнуть с неё одеяло; Маша ещё крепче в него завернулась. Наконец всё утихло, но Маша во всю ночь уже не могла сомкнуть глаз.

На другой день решилась она объявить матери, что откроет всё отцу своему и отдаст ему ключ, полученный от бабушки. Ивановна во время вечернего страха и сама бы рада была отказаться от всех сокровищ; но когда поутру взошло красное солнышко и яркими лучами осветило комнату, то и страх исчез, как будто его никогда не бывало. Наместо того весёлые картины будущей счастливой жизни опять заняли её воображение. «Не вечно же будет пугать меня покойница, — думала она, — выйдет Маша замуж, и старуха успокоится. Да и чего теперь она хочет? Уж не за то ли она гневается, что я никак не намерена сберегать её сокровища? Нет, тётушка! гневайся сколько угодно; а мы протрём глаза твоим рублёвикам!»

Тщетно Маша упрашивала мать, чтоб она позволила ей открыть отцу их тайну.

— Ты насильно отталкиваешь от себя сча-

стие, — отвечала Ивановна. — Погоди ещё хотя дня два, — верно, скоро явится жених твой, и всё пойдёт на лад.

— Два дня! — повторила Маша, — я не переживу и одной такой ночи, какова была прошедшая.

— Пустое, — сказала ей мать, — может быть, и сегодня всё дело придёт к концу.

Маша не знала, что делать. С одной стороны, она чувствовала необходимость рассказать всё отцу; с другой — боялась рассердить мать, которая никогда бы ей этого не простила. Будучи в крайнем недоумении, — на что решиться, вышла она со двора и в задумчивости бродила долго по самым уединённым улицам Лафертовской части. Наконец, не придумав ничего, воротилась домой. Ивановна встретила её в сенях.

— Маша! — сказала она ей, — скорей поди вверх и приоденься: уж более часу сидит с отцом жених твой и тебя ожидает.

У Маши сильно забилось сердце, и она пошла к себе. Тут слёзы ручьём полились из глаз её. Улиян представился её воображению в том печальном виде, в котором она видела его в последний раз. Она забыла наряжаться. Наконец строгий голос матери прервал её размышления.

— Маша! долго ли тебе прихорашиваться? —

кричала Ивановна снизу. — Сойди сюда!

Маша поспешила вниз в том же платье, в котором вошла в свою светлицу. Она отворила дверь и оцепенела!.. На скамье, подле Онуфрича, сидел мужчина небольшого росту, в зелёном мундирном сюртуке; то самое лицо устремило на неё взор, которое некогда видела она у чёрного кота. Она остановилась в дверях и не могла идти далее.

— Подойди поближе, — сказал Онуфрич, — что с тобою сделалось?

— Батюшка! это бабушкин чёрный кот, — отвечала Маша, забывшись и указывая на гостя, который странным образом повёртывал головою и умильно на неё поглядывал, почти совсем зажмурив глаза.

— С ума ты сошла! — вскричал Онуфрич с досадою. — Какой кот? Это господин титулярный советник Аристарх Фалелеич Мурлыкин, который делает тебе честь и просит твоей руки.

При сих словах Аристарх Фалелеич встал, плавно выступая, приблизился к ней и хотел поцеловать у неё руку. Маша громко закричала и подалась назад. Онуфрич с сердцем вскочил со скамейки.

— Что это значит? — закричал он. — Эдакая ты

неучтивая, точно деревенская девка!

Однако ж Маша его не слушала.

— Батюшка! — сказала она ему вне себя, — воля ваша! это бабушкин чёрный кот! Велите ему скинуть перчатки; вы увидите, что у него есть когти. — С сими словами она вышла из комнаты и убежала в светлицу.

Аристарх Фалелеич тихо что-то ворчал себе под нос. Онуфрич и Ивановна были в крайнем замешательстве, но Мурлыкин подошёл к ним, всё так же улыбаясь.

— Это ничего, сударь, — сказал он, сильно картавя, — ничего, сударыня, прошу не прогневаться! Завтра я опять приду, завтра дорогая невеста лучше меня примет.

После того он несколько раз им поклонился, с приятностию выгибая круглую свою спину, и вышел вон. Маша смотрела из окна и видела, как Аристарх Фалелеич сошёл с лестницы и, тихо передвигая ноги, удалился; но, дошед до конца дома, он вдруг повернул за угол и пустился бежать, как стрела. Большая соседская собака с громким лаем во всю прыть кинулась за ним, однако не могла его догнать.

Ударило двенадцать часов; настало время обедать. В глубоком молчании все трое сели за стол,

и никому не хотелось кушать. Ивановна от времени до времени сердито взглядывала на Машу, которая сидела с потупленными глазами. Онуфрич тоже был задумчив. В конце обеда принесли Онуфричу письмо; он распечатал — и на лице его изобразилась радость. Потом он встал из-за стола, поспешно надел новый сюртук, взял в руки шляпу и трость и готовился идти со двора.

— Куда ты идёшь, Онуфрич? — спросила Ивановна.

— Я скоро ворочусь, — отвечал он и вышел.

Лишь только он затворил за собой дверь, как Ивановна начала бранить Машу.

— Негодная! — сказала она ей, — так-то любишь и почитаешь ты мать свою? Так-то повинуешься ты родителям? Но я тебе говорю, что приму тебя в руки! Только смей опять подурачиться, когда пожалует к нам завтра Аристарх Фалелеич!

— Матушка! — отвечала Маша со слезами, — я во всём рада слушаться, только не выдавайте меня за бабушкина кота!

— Какую дичь ты опять запорола? — сказала Ивановна. — Стыдись, сударыня; все знают, что он титулярный советник.

— Может быть, и так, матушка, — отвечала бедная Маша, горько рыдая, — но он кот, право кот!

Сколько ни бранила её Ивановна, сколько её ни уговаривала, но она всё твердила, что никак не согласится выйти замуж за бабушкина кота; и наконец Ивановна в сердцах выгнала её из комнаты. Маша пошла в свою светлицу и опять принялась горько плакать.

Спустя несколько времени она услышала, что отец её воротился домой, и немного погодя её кликнули. Она сошла вниз; Онуфрич взял её за руку и обнял с нежностию.

— Маша! — сказал он ей, — ты всегда была добрая девушка и послушная дочь!

Маша заплакала и поцеловала у него руку.

— Теперь ты можешь доказать нам, что ты нас любишь! Слушай меня со вниманием. Ты, я думаю, помнишь о маркитанте, о котором я часто вам рассказывал и с которым свёл я такую дружбу во время Турецкой войны: он тогда был человек бедный, и я имел случай оказать ему важные услуги. Мы принуждены были расстаться и поклялись вечно помнить друг друга. С того времени прошло более тридцати лет, и я совершенно потерял его из виду. Сегодня за обедом получил я от него письмо; он недавно приехал в Москву и узнал, где я живу. Я поспешил к нему; ты можешь себе представить, как мы обрадовались

друг другу. Приятель мой имел случай вступить в подряды, разбогател и теперь приехал сюда жить на покое. Узнав, что у меня есть дочь, он обрадовался; мы ударили по рукам, и я просватал тебя за его единственного сына. Старики не любят терять времени — и сегодня ввечеру они оба у нас будут.

Маша ещё горше заплакала; она вспомнила об Улияне.

— Послушай, Маша! — сказал Онуфрич, — сегодня поутру сватался за тебя Мурлыкин; он человек богатый, которого знают все в здешнем околотке. Ты за него выйти не захотела; и признаюсь, — хотя я очень знаю, что титулярный советник не может быть котом или кот титулярным советником, — однако мне самому он показался подозрительным. Но сын приятеля моего — человек молодой, хороший, и ты не имеешь никакой причины ему отказать. Итак, вот тебе моё последнее слово: если не хочешь отдать руку свою тому, которого я выбрал, то готовься завтра поутру согласиться на предложение Аристарха Фалелеича… Поди и одумайся.

Маша в сильном огорчении возвратилась в свою светлицу. Она давно решилась ни для чего в свете не выходить за Мурлыкина; но принадле-

жать другому, а не Улияну, — вот что показалось ей жестоким! Немного погодя вошла к ней Ивановна.

— Милая Маша! — сказала она ей, — послушайся моего совета. Всё равно, выходить тебе за Мурлыкина или за маркитанта: откажи последнему и ступай за первого. Отец хотя и говорил, что маркитант богат, но ведь я отца твоего знаю! У него всякой богат, у кого сотня рублей за пазухой. Маша! подумай, сколько у нас будет денег… а Мурлыкин, право, не противен. Хотя он уже не совсем молод, но зато как вежлив, как ласков! Он будет тебя носить на руках.

Маша плакала, не отвечая ни слова; а Ивановна, думая, что она согласилась, вышла вон, дабы муж не заметил, что она её уговаривала. Между тем Маша, скрепя сердце, решилась принесть отцу на жертву любовь свою к Улияну. «Постараюсь его забыть, — сказала она сама себе, — пускай батюшка будет счастлив моим послушанием. Я и так перед ним виновата, что против его воли связалась с бабушкой!»

Лишь только смерклось, Маша тихонько сошла с лестницы и направила шаги прямо к колодезю. Едва вступила она на двор, как вдруг вихрь поднялся вокруг неё, и казалось, будто

земля колеблется под её ногами… Толстая жаба с отвратительным криком бросилась к ней прямо навстречу, но Маша перекрестилась и с твёрдостию пошла вперёд. Подходя к колодезю, послышался ей жалостный вопль, как будто выходящий с самого дна. Чёрный кот печально сидел на срубе и мяукал унылым голосом. Маша отворотилась и подошла ближе; твёрдою рукою сняла она с шеи снурок и с ним ключ, полученный от бабушки.

— Возьми назад свой подарок! — сказала она. — Не надо мне ни жениха твоего, ни денег твоих; возьми и оставь нас в покое.

Она бросила ключ прямо в колодезь; чёрный кот завизжал и кинулся туда же; вода в колодезе сильно закипела… Маша пошла домой. С груди её свалился тяжёлый камень.

Подходя к дому, Маша услышала незнакомый голос, разговаривающий с её отцом. Онуфрич встретил её у дверей и взял за руку.

— Вот дочь моя! — сказал он, подводя её к почтенному старику с седою бородою, который сидел на лавке. Маша поклонилась ему в пояс.

— Онуфрич! — сказал старик, — познакомь же её с женихом.

Маша робко оглянулась — подле нее стоял Ули-

ян! Она закричала и упала в его объятия…

Я не в силах описать восхищения обоих любовников. Онуфрич и старик узнали, что они уже давно познакомились, — и радость их удвоилась. Ивановна утешилась, узнав, что у будущего свата несколько сот тысяч чистых денег в ломбарде. Улиян тоже удивился этому известию, ибо он никогда не думал, чтоб отец его был так богат. Недели чрез две после того их обвенчали.

В день свадьбы, ввечеру, когда за ужином в доме Улияна весёлые гости пили за здоровье молодых, вошёл в комнату известный будочник и объявил Онуфричу, что в самое то время, когда венчали Машу, потолок в лафертовском доме провалился и весь дом разрушился.

— Я и так не намерен был долее в нём жить, — сказал Онуфрич. — Садись с нами, мой прежний товарищ, налей стакан цимлянского и пожелай молодым счастия и — многие лета!

Владимир Иванович Даль (1801–1872)

Сказка о Иване Молодом Сержанте, Удалой Голове, без роду, без племени, спроста без прозвища

Милым сёстрам моим
Павле и Александре

Сказка из похождений слагается, присказками красуется, небылицами минувшими отзывается, за былями буднишними не гоняется; а кто сказку мою слушать собирается, тот пусть на русские поговорки не прогневается, языка доморощенного не пугается; у меня сказочник в лаптях; по паркетам не шатывался, своды расписные, речи затейливые только по сказкам одним и знает. А кому сказка моя про царя Дадона Золотого Кошеля, про двенадцать князей его, про конюших, стольников, блюдолизов придворных, про Ивана Молодого Сержанта, Удалую Голову, спроста без прозвища, без роду, без племени, и прекрасную супругу его, девицу Катерину, не по нутру, не по нраву — тот садись за грамоты французские, переплёты сафьяновые, листы золотообрезные, читай бредни высокоумные! Счастливый путь ему на ахинеи, на баклуши заморские, не видать

ему стороны затейливой, как ушей своих; не видать и гуслей-самогудов: сами заводятся, сами пляшут, сами играют, сами песни поют; не видать и Дадона Золотого Кошеля, ни чудес неимоверных, Иваном Молодым Сержантом созидаемых! А мы, люди тёмные, не за большим гоняемся, сказками потешаемся, с ведьмами, с чародеями якшаемся. В нашей сказке на всякого плясуна по погудке, про куму Соломониду страсти-напасти, про нас со сватом смехи-потехи!

В некотором самодержавном царстве, что за тридевять земель, за тридесятым государством, жил-был царь Дадон Золотой Кошель. У этого царя было великое множество подвластных князей: князь Панкратий, князь Клим, князь Кондратий, князь Трофим, князь Игнатий, князь Евдоким, много других таких же и, сверх того, правдолюбивые, сердобольные министры, фельдмаршал Кашин, генерал Дюжин, губернатор граф Чихирь Пяташная Голова да строевого боевого войска Иван Молодой Сержант, Удалая Голова, без роду, без племени, спроста без прозвища. Его-то царь Дадон любил за верную службу, его и жаловал неоднократно большими чинами, деньгами, лентами первоклассными, златоченканными кавалериями, крестами, медалями и

орденами. Таковая милость царская подвела его под зависть вельмож и бояр придворных, и пришли они в полном облачении своём к царю и, приняв слово, стали такую речь говорить: «За что, государь, изволишь жаловать Ивана Молодого Сержанта милостями-почестями своими царскими, осыпать благоволениями многократными наравне с твоими полководцами? Мы, не в похвальбу сказано, не в урок помянуто, мы, кажется, для тебя большего стоим; собираем с крестьян подати-оброки хорошие, живём не похолопьи, хлебом-солью, пивом-мёдом угощаем и чествуем всякого, носим на себе чины и звания генеральские, которые на свете ценятся выше чина капральского».

Царь этот царствовал, как медведь в лесу дуги гнёт: гнёт — не парит, переломит — не тужит! Он, послушав правдолюбивых и сердобольных советников своих, приказал немедленно отобрать от Ивана Молодого Сержанта, Удалой Головы, без роду, без племени, спроста без прозвища, все документы царские, чины, ордена, златочеканные медали, и пошло ему опять жалованье солдатское простое, житьё плохое, и стали со дня на день налегать на него более вельможи, бояре царские, стали клеветать, обносить, оговаривать. Подстре-

ленного сокола и ворона носом долбит; свались только с ног, а за тычками дело не станет! Бился, бился наш Иван — какого добра ещё дожидаться? Надувшись на пиво, его не выпьешь; глядя на лес, не вырастешь, а смотря на людей, богат не будешь. Задумал он наконец худое дело сделать, бежать из службы царской — земля государева не клином сошлась; беглому одна дорога, а погонщикам — сто; а поймают — воля Божья, суд царёв: хуже худова не бывает, а здесь несдобровать. Выждал он ночь потемнее, собрался и пошёл, куда глаза глядят, куда стопы понесут молодецкие!

Приятель наш нехорошо сделал, что сбежал, о том ни слова, но и то сказать, человек не скотина; терпит напраслину до поры до времени, а пошла брага через край, так и не сговоришь! Исподволь и ольху согнёшь, а вкруте и вяз переломишь!

Не успел выйти Иван наш на первый перекрёсток, видит-встречает, глазам своим молодецким не доверяет, видит прекрасную девицу, стоит девица Катерина, что твоя красная малина! Разодетая, разубранная, как ряженая суженая! Она поклонилась обязательно, приветствовала милостиво и спросила с ласкою: кто он таков, куда и зачем идёт или послан, по своему ли желанью или по чьему приказанью? «Не торопись к худу,

Иван Молодой Сержант, Удалая ты Голова, без роду, без племени, спроста без прозвища, — продолжала она, — а держись блага — послушай ты моего девичьего разума глупого, будешь умнее умного; задумал ты худое дело делать: бежать из службы царской, не схоронишь ты концов в воду, выйдет через год со днём наружу грех твой, пропадёт за побег вся служба твоя; подумай-ка ты лучше думу да воротись; не всем в изобилии, в раздолье жить припеваючи, белорыбицей по Волге-реке разгуливать; кто служит, тот и тужит; ложку мёду, бочку дёгтю — не съешь горького, не поешь и сладкого; не смазав дёгтем, не поедешь и по брагу! Мало славы служить из одной корысти; нет, Иван, послужи-ка ты своему царю заморскому, под оговором, под клеветою, верою и правдою, как служат на Руси, из одной ревности да чести! Воротись, Иван Молодой Сержант, да женись ты на мне, так мы бы с тобою и стали жить да поживать; любишь — так скажи, а не любишь — откажи! Запрос в карман не лезет».

Есть притча короче носа птичья: жениться — не лапоть надеть, а одни лапти плетутся без меры, да на всякую ногу приходятся! И истинно; жена не гусли: поигравши, на стенку не повесишь, а с кем под венец, с тем и в могилу, — приглядись,

приноровись, а потом женись; примерь десять раз, а отрежь один раз; на горячей кляче жениться не езди! Всё это и справедливо и хорошо, но иногда дело как будто бы наперёд уже слажено, а суженого и на кривых оглоблях не объедешь! Так и тут случилось; капрал наш солдат, человек сговорчивый, подал руку девице Катерине — вот то-то свахи наши ахнут: что за некрещёная земля, где сговор мог состояться без них!!! — подал руку ей, она ему надела на перст колечко обручальное, даровое-заветное, дарующее силу и крепость, и неиссякающее терпение, вымолвила пригодное слово, и чета наша идёт — не идёт, летит — не летит, а до заутрени очутились они в первопрестольном граде своём, снарядились и обвенчались, а с рассветом встали молодыми супругами.

И вдруг, отколе чего взялось, пошли Ивану опять прежняя милость царская, чины, и деньги, и лестные награды, и зажил он припеваючи домовитым хозяином, как ярославский мужик. И снова стал лукавый мучить завистью правдолюбивых, сердобольных министров царских, фельдмаршала Кашина, генерала Дюжина, губернатора графа Чихиря Пяташную Голову, и предложили они единодушно царю, чтобы Иван

Молодой Сержант, по крайней мере, заслужил службою милость царскую, показал бы на деле рысь свою утиную лапчатую. Вследствие сего Иван Молодой Сержант наутро вычистился, бельё натёр человечьим мясом[1], брюки велел жене вымыть и выкатать, на себе высушил — словом, снарядился, как на ординарцы, и явился ко двору. Царь Дадон, трепнув его по плечу, вызывал службу служить. «Рад стараться», — отвечал Иван. «Чтобы ты мне, — продолжал царь, — за один день, за одну ночь и всего за одни сутки сосчитал, сколько сот, тысяч или миллионов зёрен пшеницы в трёх больших амбарах моих, и с рассветом доложил мне об этом. Если сочтёшь верно, пойдёт снова милость царская пуще прежнего; а нет, так казнить, повинную голову рубить!»

Взяла кручинушка Ивана Молодого Сержанта, Удалую Голову, без рода, без племени, спроста без прозвища, повесил он головушку на правую сторонушку, пришёл, горемычный, домой. «О чём тужишь-горюешь, очи солдатские потупляешь или горе старое мыкаешь-понимаешь?» — так спросила его благоверная супруга девица Катерина. «Всевозлюбленная и распрекрасная

[1] Примечания: 1

Бельё у солдата *что белится,* белая кожаная амуниция. Белят её составом из белой глины, а натирается она и вылащивается голою рукою.

дражайшая сожительница моя, — держал ответ Иван Молодой Сержант, — не бесчести в загонях добра молодца, загоняешь и волка, так будет овца! Как мне не тужить, не горевать, когда царь Дадон, слушая царедворцев своих, велит мне службу служить непомерную, велит мне за один день, за одну ночь и всего-то русским счётом за одни сутки, счесть, сколько в трёх больших амбарах его царских сот, тысяч или миллионов зёрен пшеницы; сочту, так пойдёт милость царская, а нет, так казнить, повинную голову рубить!» — «Эх, Иван Молодой Сержант, Удалая ты Голова, дражайший сожитель и супруг мой! Это не служба, а службишка, а служба будет впереди! Ложись-ка ты спать, утро вечера мудренее, — завтра встанем да, умывшись и помолившись, подумаем», — так рекла прекрасная Катерина; напоила, накормила его, и спать положила, и прибаюкивала песенкою:

За лесами, за горами горы да леса,

А за теми за лесами лес да гора,

А за тою за горою горы да леса,

А за теми за лесами трын да трава;

Там луга заповедным диким лесом поросли.

И древа в том лесу стоеросовые.
На них шишки простые, не кокосовые!

Сожитель лёг, зевнул, заснул — а Катерина вышла за ворота тесовые, на крылечко белокаменное, махнула платочком итальянским и молвила: «Ах вы, любезные мои повытчики, батюшкины посольщики, нашему делу помощники, пожалуйте сюда!» И тотчас, отколе ни возьмись, старик идёт, клюкой подпирается, на нём шапка мотается, головой кивает, бородой след заметает; стал и послушно от повелительницы приказания ожидает. «Сослужи-ка ты мне, вещун-чародей, службу, сосчитай до утра: сколько в трёх больших амбарах государевых счётом зёрен?» — «Ах, любезная наша повелительница, дочь родная-кровная нашего отца-командира, это не служба, а службишка, а служба будет впереди»; сам как свистнет да гаркнет на своих на приказчиков, так со всех сторон налетели, тьма-тьмущая — что твоя туча громовая, чёрная! Как принялась за работу, за расчёт, не довольно по горсти — по зерну на каждого не досталось!

Ещё черти на кулачки не бились, наш Иван просыпается, глаза протирает, сон тяжкий отряхает, беду неминучую, смерть верную ожидает.

Вдруг подходит к нему супруга его благоверная, сожительница Катерина, грамоту харатейную, расчёт верный зёрнам пшеничным подносит. А века тогда были тёмные, грамоте скорописной мало кто знал, печатной и в заводе не было, — церковными буквами под титлами и ключами числа несметные нагорождены: азы прописные — красные, узорчатые, строчные — чёрные, будничные, — кто им даст толку? Да и не поверять же стать! Ни свет ни заря явился капрал наш на войсковой двор и подал грамоту по начальству. А придворные правдолюбивые фельдмаршал Кашин, генерал Дюжин, губернатор граф Чихирь Пяташная Голова мысленно капрала давно уже казнили, четверили, повесили, тело его всесожжению предали и прах от востока до заката развеяли. Царь передал грамоту и дело Ивана на суд царедворцам своим. А царедворцы его — кто взят из грязи да посажен в князи; кто и велик телом, да мал делом; иной свысоку, да без намёку; тот с виду орёл, да умом тетерев, личиком беленек, да умом простенек, хоть и не книжен, да хорошо острижен; а которые посмышлёнее, так все плуты наголо, кто кого сможет, тот того и гложет, ну, словом, живут — только хлеб жуют, едят — небо коптят! Они повелели именем Да-

дона собрать всех счётчиков, арифметчиков со всего царства, составить заседание и проверить огромные итоги. Арифметчики бились, перебрали жалованья, каждый тысяч по нескольку, получили по чину сенаторскому, по две ленты на крест, по плюмажу на шляпу и решили наконец единогласно и единодушно, чтобы грамоту нерукотворную харатейную отдать на сохранение в приличное книгохранилище и передавать из рода в род позднейшему потомству яко достопамятность просвещённого века великоименитого, великодаровитого, великодержавного и великомудрого царя Дадона Золотого Кошеля; что же именно касается выкладки счёта сего, то оно действительно может быть так, а может быть и не так; а потому не благоугодно ли будет вышепоименованному Ивану Молодому Сержанту повелеть, яко остающемуся и пребывающему под сомнением, повелеть службу служить ему иную и исполнить оную с большим тщением и рачением? Царь Дадон пожаловал им теперь по кресту на петлицу, по звезде на пуговицу, по банту за спину.

А службу опять загадали Ивану безделицу: в один день, в одну ночь. Всего-то русским счётом в одни сутки, выкопать вокруг города-столицы

канаву, сто сажен глубины, сто сажен ширины, воды напустить, чтобы корабли ходили, рыба гуляла, пушки по берегам на валу стояли и до рассвету производилась бы пальба, ибо царь Дадон Золотой Кошель намеревался потешаться и праздновать именины свои. Если сослужит Иван службу эту — любить и золотом дарить; если нет — так казнить, голову рубить!

Вот когда нашему Ивану пришлось хоть волком взвыть! Разорвись наш брат надвое, скажут: две ноги, две руки, почему не начетверо? Подгорюнился, пришёл домой, судьбу свою проклинает, смерть верную ожидает; попало зёрнышко под жёрнов, быть ему смолоту; с ветром божьим, с волею мастера не поспоришь. Но прекрасная Катерина, спросив и узнав кручину супруга-сожителя, снова намекнула ему: это не служба, а службишка, а служба будет впереди; положила спать, убаюкала тою же песнью, вышла и накликала вещуна-чародея. Идёт, головою кивает, бородой след заметает; как свистнет да топнет на своих на приказчиков — ночи тьму затмили; а за работу принялись, так не только по горсти земли — по зерну, по одной песчинке на брата не досталось!

С рассветом дня царь, министры его, вельможи,

царедворцы, думные и конюшие и вся столица просыпаются от гула пушек, и губернатор граф Чихирь Пяташная Голова, в лёгком ночном уборе, в *валентиновом* халате, с *парламентёром* на шее, походя с ног на горного шотландца, выскочил из терема своего в *три авантажа* на *балахон* и старался усмотреть в *подозрительную* трубу подступающего неприятеля. Когда же дело всё обнаружилось, то Иван за страх, причинённый царю Дадону, царедворцам его и всем честным согражданам, был схвачен и посажен до времени под стражу; губернатора графа Чихиря сделали комендантом новой крепости; фельдмаршалу Кашину за деятельные меры для отражения мнимого неприятеля сшили в знак отличия кафтан из одних разноцветных выпушек; у прежнего же высокого совета арифметчиков, блажныя памяти, отобраны все знаки отличия, ордена, ленты и звёзды; за нехитро придуманную, площадную, Иваном нашим легко исполненную службу признаны все учреждения и поставления их, да и сами они несостоятельными и сосланы они на тёплые воды полечиться. А когда при вечернем осмотре царь Дадон Золотой Кошель нашёл все новые укрепления со всеми угодьями в отличной исправности, то и отдал коменданту Чихирю все

знаки отличий, коими пользовался, блажныя памяти, верховный совет его.

Между тем у новых советников царских мало-помалу умишко поразгулялся, и они придумали-пригадали Ивану такую добрую службу сослужить, что от радости приказали поднести себе по кружке мёду, закусили муромским калачом, ростовским каплуном и нежинским свежепросольным огурчиком, и понесли, убояся грамоты, речи свои царю на доклад. Да и хитро же придумали! Дурак камень в воду закинет, дурак узел завяжет, семеро умных камня не вытащат из воды, узла не развяжут! Ивану нашему велели службу служить, а сами за сказки да за пляски, за обеды да за беседы — народ деловой; два брата на медведя, два свата на кисель; из лука не мы, из пищали не мы, а поесть, поплясать — против нас не сыскать!

«Ой ты гой-еси, добрый молодец, Иван Молодой Сержант, без роду, без племени, спроста без прозвища, витязь безродный и бесконный! Собирайся служить ты службу тяжкую; иди ты туда, неведомо куда, ищи того, неведомо чего; разойдись один по семи перекрёсткам, с семи перекрёстков по семи дорогам столбовым; за горою лес, а за лесом гора, а за тою горою лес, а за тем

лесом опять гора, — вспоминал теперь Иван наш колыбельную песенку супруги своей! — Придёшь ты в тридесятое государство, что за тридевять земель, в заповедную рощу; в роще заповедной стоит терем золочёный, в тереме золочёном живёт Котыш Нахал, невидимка искони века; у него-то есть гусли-самогуды, сами заводятся, сами играют, сами пляшут, сами песни поют; гусли эти принеси царю, царевичам, и царедворцам, и наперсникам их играть, потешаться, музыкою заморскою забавляться; и чтобы всё это было сделано в одни сутки! Исполнишь — хорошо; а нет, так третий и последний тебе срок — шапки с головы схватить не успеешь, как она тебе, и с головою, в ноги покатится!»

Уповая на благоверную сожительницу свою, прекрасную Катерину, и на помощь вещуна-чародея, Иван наш не унывал; но когда он пересказал сожительнице загаданную ему службу, тогда получил в ответ: «Вселюбезнейший и дражайший супруг мой и сожитель Иван Молодой Сержант, без роду, без племени, спроста без прозвища. Удалая ты Голова! Ныне пришла пора, пришла и служба твоя, и должно тебе служить её самому; не в моих силах высвободить тебя, ниже подать тебе, бедствующему, руку помощи»; а засим

она его снарядила и в поход отпустила, как с судьбою, с случаями путём-дорогою ведаться научила, платочком итальянским своим подарила и примолвила: «Паси денежку про чёрный день; платком этим не иначе как в самой сущей крайности и в самом бедственном положении можешь ты утереть с лица своего молодецкую слезу горести и скорби! Не пренебрегай бездельным подарком моим: невелика мышка, да зубок остёр, невелик сверчок, да звонко поёт, — часом и лычко послужит ремешком!» Сели, подали хлеб-соль на прощанье, помолились богу — и пошёл наш Иван, куда кривая не вынесет!

И кто бы благодерзновенный покусился сподвизаться на такие чудные и неслыханные похождения! Но плетью обуха не перешибёшь — когда посылают, так иди; не положить же им, здорово живёшь, голову на плаху; смерть не свой брат, хоть жить и тошно, а умирать тошнее; ретивый парень лучше пойдёт проведать счастья молодецкого на чужбине, чем ему умирать бесславно на родине!

Иван наш уже на пути. Терпит он холод и голод и много бедствий различных переносит; бог вымочит, бог и высушит; потерял он счёт дням и ночам. «Светишь, да не греешь, — подумал он, по-

глядев на казацкое солнышко, на луну, — только напрасно у бога хлеб ешь». И видит он вдруг, что зашёл в бор дремучий и непроходимый, такой, что света божьего невзвидел; пень на пне, то лбом, то затылком притыкается — устал, хоть на убой! Подкосились колени его молодецкие, сапоги в сугробах снежных, глубоких вязнут. Поднял он лычко подвязать голенище — горе лыком подпоясано! Вынул платочек даровой заветной супруги-сожительницы — вдруг его как на ходули подняло! Отозвалося лычко ремешком! На нём сапоги-самоходы, да и такие они скороходы, что и на одном месте стоят, так конному не нагнать; не успел шагнуть, полюбоваться рысью своею, а уже всё вокруг него зазеленелось: зашёл он из белой матушки-зимы в цветущую благоуханную весну; и полетел наш Иван, оглянуться не успел, выходит из лесу соснового дремучего на лужайку вечнозелёную, травка-муравка вечно свежа-зелена, как бархатец опушкой шёлковой ложится, ковром узорчатым под ноги расстилается. И стоит на лужайке той здание чудное, вызолоченное от земли до кровли, от угла до угла; столпы беломраморные кровлю черепичную-серебряную подпирают, на ней маковки горят золотые, узоры прихотливые, живописные

и лепные под карнизами резными разгуливают, окны цветные хрустальные, как щиты огненные, злато отливают — ни ворот, ни дверей, ни кола, ни двора; без забора, без запора, говорится, не уйдёшь от вора, а тут всё цело, исправно, видно, некому и воровать! Обошёл капрал наш здание это раз-другой кругом, оглядел со всех сторон — всюду то же, и входа нет! Смелость города берёт, а за смелого бог; без отваги нет и браги; не быв звонарём, не быть и пономарём! Стук, бряк в окно хрустальное, зазвенело-полетело, только осколки брызнули! Забрался наш Иван безродный, удалой в терем золочёный, да и ахнул! Хороша куропатка перьями, а лучше мясом; здание внутри блистало такою красотой, что ни придумать, ни сгадать, ни в сказке сказать! А палаты огромные пусты; никто на зов Ивана Молодого Сержанта не откликается; нет ответа, нет привета. Ходил, ходил Иван наш, выходил по всем покоям и видит, вдруг встречает, глазам молодецким не доверяет, стоит в углу чан дубовый, висит через край ковшик лужёный. Выпил он на усталости крючок, за здравие благоверной сожительницы своей другой, за упокой клеветников и доносчиков своих третий — разобрало его, зашумело в голове, ходит по покоям золочёным один, как

перст, похаживает, завалил руку левую за ухо на самый затылок и песенку русскую: «Растоскуйся ты, моя голубушка, моя дорогая» — во весь дух покрикивает. Вдруг незримая рука его останавливает, голос безвестный вопрошает: «Ох ты гой-еси, добрый молодец, мало доблести, много дерзости! Зачем и откуда пожаловал, по своему ли желанью или по чьему приказанью?» — «Я Иван Молодой Сержант, спроста без прозвища, без роду, без племени, я Иван безродный. Удалая Голова, витязь бездомный и бесконный; служил я верно богу и некрещёному царю своему в земле, что за триста конных миль; сбили меня царедворцы завистливые с чести, с хорошего места, лишили милостей царских, службы непосильные служить посылали, золотые горы сулили-обещали; сослужил я службу, сослужил другую, душу познал их кривую — не дали, чего посулили, на произвол судьбы за третьей службой отпустили: «Иди туда, неведомо куда, ищи того, неведомо чего; разойдись один по семи перекрёсткам, с семи перекрёстков по семи дорогам столбовым; за горою лес, а за лесом гора, а за тою горою лес, а за тем лесом опять гора; придёшь в тридесятое государство, что за тридевять земель, в рощу заповедную; стоит там терем золотой, в тереме том

живёт Котыш Нахал, невидимка искони века; у него возьми гусли-самогуды, сами заводятся, сами играют, сами пляшут, сами песни поют; их-то принеси царю, царевичам, царедворцам и наперсникам их потешаться, музыкою заморскою забавляться!»

Отозвался невидимка снова: «Кого ищешь, Иван Молодой Сержант, того нашёл. Зовут меня Котышем Нахалом, вековечный я невидимка, живу в заповедной роще в тереме золочёном. Знаю я художества разные и многие; умею я строить-набирать гусли-самогуды, да с уговором: грех пополам; я буду работать, а ты будешь светить мне лучиной три дня и три ночи без смены, без засыпу; просветишь — гусли-самогуды возьмёшь; а заснёшь, не то вздремнёшь, так голову, как с воробья, сорву! До слова крепись, а за слово держись; попятишься — раком назовут!»

«Полез по горло, — подумал Иван, — лезть и по уши; уже теперь не воротиться же стать». Надрал он лучин хвойных, зажёг, светит день, светит ночь, светит и ещё день, сон клонит неодолимый; кивнул Иван головой, задремал. А Котыш Нахал толк его под бок: «Ты спишь, Иван?» — «Ох, спать я не сплю и дремать не дремлю, а думаю я думу». — «А какую же ты думаешь думу?» — «А

думаю я, глядя в окно, множество несметное растёт по свету белому леса разнокалиберного — а какого более растёт, кривого или прямого? Чай, кривого больше». Котыш Нахал призадумался. «Погоди, — говорит, — постереги ты на досуге гусли, я пойду посчитаю». Пошёл; а капрал наш тем часом залёг да давай на скорую руку спать. Долго ли, нет ли ходил Котыш — недолог час на аршин, да дорог улочкою, — а Иван поспал изрядно; он, солдат, спит скоро; бывало, под туркою, походя наестся, стоя выспится. «Вставай, Иван, — закричал Котыш, — твоя правда, кривого лесу больше; и больше так, что на числа положить, так русским счётом и не выговоришь. Зажигайка лучину да садись за работу, свети трое суток сряду!» Светит капрал наш день, светит и ночь, добился и до другой — опять песня та же; крепился, крепился — задремал! А Котыш его толк в ребро: «Спишь?» — говорит. «Ох, спать я не сплю и дремать не дремлю, а думаю я думу!» — «А какую же ты думаешь думу?» — «А думаю я: несметное множество людей на свете у бога да у земных царей, а мало ли было, да перемёрло? Каких же больше людей на свете, живых или мёртвых? Чай, мёртвых больше!» Покинул Котыш опять Ивана на стороже, сам пошёл считать. Ходил

он сутки с неделей без семи дней, по-ихнему без году год со днём, выходил всю поднебесную; а Иван на брюхо лёг, спиной укрылся, зевнуть не успел, заснул. «Вставай, капрал! Пора за работу, а правда твоя, мёртвых людей больше; живых без четверти с седьмухой три осьмины, а остальные все мёртвые!»

Светит Иван опять ночь со днём, перемогся и другую, а до третьей стало доходить — вздремнул, да так, что всхрапнул да присвистнул! Толкнул его Котыш в ребро: «Спишь, Иван?» А он очнулся, да не нашёлся, а вымолвил с перепугу словцо русское *виноват*! К пиву едется, а к слову молвится: *авось, небось* да *как-нибудь,* а если, на беду, концы с концами не сойдутся: *виноват!* Вот что нашего брата на русской земле и губит; вот за что нашего брата и бьют, да, видно, всё ещё мало; неймётся! «Из твоей вины, — молвил Котыш Нахал, — не рукавицы шить, не сапоги тачать, а если так, то делать нечего, смерть твоя пришла неминучая. Поди-ка выдь на лужайку муравчатую, на мою заповедную мелкотравчатую, погляди ещё раз на белый свет, простися, покайся, умирать собирайся, а я голову с тебя, как с воробья, сорву! Охота хуже неволи; ты же сам обрёкся не животу, а смерти; слово сказано языком да губами, а дер-

жись за него зубами!»

Вышел Иван Молодой Сержант на лужайку заповедную вечнозелёную, вспомнил родину свою, супругу молодую, прекрасную Катерину, и залился слезами горькими. Что рыбе погибать на суше и безводье, то добру молодцу умирать вчуже на безродье! Вынул Иван платочек заветный итальянский утереть в последний раз слезу молодецкую — а уж Котыш Нахал зовёт его на расправу, под окном косятчатым сидя, в растворчатое глядя. Пришёл к нему капрал наш, заживо мёртвым себя почитает, молитвами грешными сам себя поминает. «Отколе ты взял платок этот?» — спросил у него Котыш Нахал, невидимка искони века. Иван рассказал, от кого и каким случаем платок ему достался. «Ладно, кума, лишь бы правда была, — отозвался Котыш. — Правду ли ты говоришь?» — «Божиться у нас не велят, да и лгать заказывают, — отвечал служивый, — что сказано, то и свято; на солдатском слове хоть твердыни клади». — «Недолго думано, да хорошо сказано, — молвил Котыш. — Если так, то ты бы мне давно это сказал — стало быть, ты женат на дочери моей, прекрасной девице Катерине, и ты по завету, которому столько же лет, как ей самой, не только пребудешь жив, здоров, и невредим, и

свободен от всякой пени, но и должен получить в приданое собственные мои гусли-самогуды, искони готовые, заветные, на которые и было положено завету заслужить любовь и руку дочери моей прекрасной девицы Катерины. Для милого дружка и серёжку из ушка!» Снарядил его, в поход отпустил, гусли-самогуды в мошне кожаной на плечи повесил — заиграли, заплясали, песни чудные запели, — а Иван лыжи наострил да направил восвояси; шагает, как жар-птица летает, домой торопится-поспешает. Шёл он оттуда високосный год без недели со днём, не то поменьше, не то побольше, не поспеть ему и назад в сутки! Стоит над путём-дорогой избушка-домоседка, распустила крылья, как курочка-наседка, а в ней стукотня; лукошко, кузовок, корзина да коробок вместо цыплят вокруг похаживают, а две ведьмы, сестры, одна буланая, одна соловая, вокруг избы дозором объезжают, никого к ней не допускают. Повесил Иван гусли-самогуды на дерево, заслушались ведьмы игры чудесной, а он тем часом обошёл кругом, да и в избу. Старик седой молотом полновесным перед жерлом огненным на наковальне булатной куёт булавы стальные, запускает их в набалдашники золотые, а готовые на полати за печь кидает. Это был вещун-чародей,

служивший на Ивана по повелению сожительницы его Катерины службы царские, но они друг друга не знавали в глаза. Старик принял радушно пришельца усталого. «Ляг, — говорит, — да отдохни; а старуха моя, коли похлебать чего хочешь, сварит тебе щец — за вкус не берусь, а горяченько да мокренько будет!» Словом, напоил, накормил и спать положил, а с рассветом выпроводил, да услышал, на беду, игру чудесную гуслей-самогудов, и стал он их у Ивана просить-выпрашивать. Не захотел отдать ему Иван сокровища своего заветного, плодов поисков, трудов и похождений неимоверных, — а тот не взял добром, так взял всемером; помощники, которым, как мы уже видели, числа нет, явились по мановению повелителя своего, воздух и небо затмили множеством своим. «Хочешь ли бороться с каждым и со всеми? — спросил вещун-чародей. — Или добровольно за булаву любую отдашь мне гусли твои?» Иван подумал, да и отдал гусли; коротки ноги у миноги на небо лезть! Выбрал булаву поувесистее и пошёл, проклиная белый свет! Куда деваться ему теперь? Что делать? Как дома, как в люди показаться и принести повинную голову свою на плаху? А был уже так близок великой цели своей! В раздумье играя булавой, стал он

набалдашник золотой отвёртывать. Отвернул — из палицы кованой несметное и бесчисленное множество войска боевого, конного и пешего вылетает, в строй парадный перед ним на лугу собирается, генералы с адъютантами своими во всю прыть на Ивана, витязя бездомного и бесконного, наскакивают, отдают честь должную полководцу, музыка полный поход играет, подвиги Ивана Молодого Сержанта выхваляет, армия вся в три темпа ружья на караул осаживает, правою ногою отступает. Это несметные полчища бесов вещуна-чародея, обмундированные, вооружённые. Надел Иван набалдашник золотой — исчезло всё, как не бывало; снял — опять здесь и бой, и музыка, и армия, и генералы с рапортами; а гусли-самогуды в котомке за плечами. Смекнул делом капрал наш; набалдашник надел, палицу в руку, котомку за плечи, самоходцы на ноги, и марш на один шабаш в родимую свою сторонушку. Поспел до рассвета; стал на луга заповедные царские, которые недовольно человек ни один не смел святотатными стопами своими попирать, но на кои и птица мимолётная не садилась; снял голову с булавы и построил армию несметную прямо против дворца царского, а гусли-самогуды заставил играть: «За горами, за долами!» Царь,

проснувшись, разгневался на дерзостного пришельца необычайно, струсил без меры и послал губернатора графа Чихаря Пяташную Голову осведомиться немедленно: что, и как, и кто, и почему? Идёт Чихарь, узнал Ивана Молодого Сержанта издали, подходит дерзостно, шляпы плюмажной не сымает, речи строптивые-ругательные произносит: «Не удивишь ты нас, Иван окаянный, что скоро воротился, и врасплох нас не застанешь! На тебя виселица готова давным-давно!» Притравил словом одним Иван бесов своих на старого недруга закоснелого: схватили — не довольно по клочку, по волоску на каждого не досталось! Ждал, ждал царь ответа с нетерпением великим. «Нет, — говорит, — видно, этот музыки заслушался; поди-ка ты, фельдмаршал мой Кашин!» «Не ломайся, овсяник, не быть калачом», — сказал ему Иван; и этому была участь не завиднее первого, и третьему генералу Дюжину также. Но теперь вызвался и пошёл сослуживец и поборник Ивана Молодого Сержанта, поступивший ныне на место убылого, сосланного за тридевять земель по гусли-самогуды. Зная службу и дисциплину, стал он подходить к новому полководцу почтительно, держал мерный шаг, руки по шву, фуражку снял на приличном расстоянии, одним словом: шёл

— не спотыкался, стал — не шатался, заговорил — не заикался, и осведомился от имени царского о происходящем. Иван Молодой Сержант, спроста без прозвища, без рода, без племени, а теперь фельдмаршал, полуторный генерал и сам себе кавалер, обнял его, приласкал, сказался именем своим, приказал царю бить челом и доложить, что Иван воротился из похода своего, сослужил службу царскую, принёс гусли-самогуды из рощи заповедной вечнозелёной от Котыша Нахала, вековечного невидимки, царю, царевичам и наперсникам их потешаться, музыкою забавляться. Сам надел набалдашник на булаву, снял войско с заповедных лугов и в послушании остался ожидать решения царского. Царь Дадон Золотой Кошель выслал звать его ко двору на чай и ужин, произвёл в военачальники свои, губернаторы, сенаторы, генералы и кавалеры, — но только что Иван дался в обман и пошёл без подозрения на зов царский, как два наёмные резника с кистенями, с ножами бросились с остервенением ему навстречу: они имели повеление обезоружить его, отняв палицу, и бросить его в темницу. Велика Федора, да дура, а Иван мал, да удал; им было бы выждать, покуда он взойдёт в тесные ворота дворцовые, и захватить его сзади, а они, не поглядев в святцы,

да бух в колокол, поспешили, людей насмешили, вышли рано, да сделали мало. Теперь Иван в последний раз испытал коварство царя Дадона Золотого Кошеля и советников его правдолюбивых; он выпустил войско своё, конное и пешее, навстречу убийцам, обложил дворец и весь город столичный, так что лишь только нашедшая туча дождевая пронеслась в недоумении, ибо некуда было и капле дождя капнуть, — и истребил до последнего лоскутка, ноготка и волоска Дадона Золотого Кошеля и всех сыщиков, блюдолизов и потакал его. «Человеку нельзя же быть ангелом», — говорили они в оправдание своё. «Но не должно ему быть и дьяволом, — отвечал он им. — И Соломон, и Давид согрешали — давидски согрешаете, да не давидски каетесь! Нет вам пардону!» И поделом: они все, по владыке своему, на один лад, на тот же покрой — все наголо бездельники; каков поп, таков и приход; куда дворяне, туда и миряне; куда иголка, туда и нитка.

Иван был провозглашён от народа царём земли той, а супруга его, благоверная Катерина, — царевною; он был ещё в цветущей молодости своей, да и она в отсутствие его не состарилась, ибо все неимоверные похождения его с Котышем Нахалом и гуслями-самогудами действительно

произошли в продолжение одних только суток. Царь Иван много лет здравствовал и царствовал, кротко и смиренно, милостиво и справедливо; пользовался мудрыми советами супруги своей, благоверной Катерины, ратью своею несметною держал во страхе и повиновении врагов своих и был благословляем народом. Празднуя же восшествие своё и супруги своей на престол, заставил на пиршестве обильном ликовать народ три дня и три ночи без отдыха; вина заморские лились через край; яств, каких только прихотливая душа твоя пожелает, вдоволь; скоморохи, выписные и доморощенные, игрища многоразличные, горы, пляски, салазки и сказки, кулачные бои увеселяли народ, со всех концов царства обширного собравшийся.

И я и сват Демьян там были, куму Соломониду дома забыли, мёд и пиво пили, по усам текло, в рот не попадало, — кто сказку мою дослушал, с тем поделюсь, кто нет — тому ни капли!

Сказка о бедном Кузе Бесталанной Голове и о перемётчике Будунтае

— А что, ребята, какой ныне у нас день? Кто скажет, не заглядывая в святцы, не справляясь у церковника нашего, ни у тёщи его, у просвирни?

— А ныне трынка-волынка-гудок, прялка-моталка-валёк, да матери их Софии, — отвечал косолапый Терёшка, облизываясь.

— А коли так, — молвил сват, — коли праздник, то, видно, быть тому делу так: чтоб не согрешить, не ухватиться от безделья за дело, подите-тка сюда, садитесь на солнышко в кружок да кладите головы друг дружке на колени; сами делайте своё, а сами слушайте!..

Жил-был во земле далёкой, промеж чехов да ляхов, старик гусляр да старуха гуслярка…

— И страх их не берёт, — сказал долгополый церковник, проходя мимо наших молодцов и подпираясь терновой тросточкой своей, — и страх их не берёт! Хоть бы воскресного дня дождались, да и зубоскалили б; так нет, вишь, и в будень… Погоди, вот я вас!

— Не сердись, дядя Агафоныч, — молвил

сват, — что пути, печёнку испортишь; позволь-ка милость твою поспрошать: у вас коли бывает воскресный-эт день?

— В воскресенье, антихристы, — гаркнул Агафоныч.

— Ан в субботу, — подхватил тот же молодец, — в субботу перед Вербным у нас бывает Лазарево воскресенье!

— Вот каков, и церковника сбил да загонял, — закричали ребята, заливаясь хохотом, — ай да письмослов!

А рассказчик продолжал:

— Жил, говорю, старик гусляр да старуха гуслярка. Спросите вы: что-де за гуслярка, коли он играл на гуслях, а не она? Сами разумные вы, кажись, знаете, что по шерсти собачке кличка бывает, а по мужу и жену честят; коли муж гусляр, так жена неужто, по-вашему, пономариха? А коли этого про вас мало, так скажу вам, молодцам молодецким, что и старухе намедни прилучилось поиграть на гуслях: как полезла она за решетом да стянула их рядном с полатей — загудели, сердечные, сказывают, вечную память по себе пропели да и смолкли.

До этого греха старик наш кой-как с ломтя на ломоть перебивался; хотя, правда, родовое добро

его, голос молодецкий, стал уже отказываться и подламываться о ту же пору, как и зубы, промолов с лихвою два-сорока годов; но наживное имущество, гусли, всё ещё служили верою и правдой безволосому и белобородому, утешали жителей села Поищихи, со просёлки и выселки, и кормили старичков наших и сына их, бедного Кузю. Но теперь после того, когда старухе нехотя, как сказывал я вам, случилось поиграть на гуслях этих и в первый и в последний, когда, сверх того, старички, живучи в сырой, дряблой землянке, захворали, то пришлось было им пропадать совсем. Вот они и сложили поскрёбыши и осколки гуслей своих в мешок, повесили его сыну, бедному Кузе, на шею и послали его собирать подаяние милосердных и жалостных прихожан; кто знал старика и помнил гусли его, тот-де не отринет и теперь, а подаст. Ходит Кузя по миру и поёт под оконцами песни:

Гляньте, загляньте в дыряву котомку,
Дайте, подайте хлеба ломоть!
Тятька гусляр, моя мама гуслярка —
Где твои гусли, бедный Кузя?
Гляньте, загляньте в дыряву котомку,
Дайте, подайте хлеба ломоть!

Раз как-то в воскресный день бедный Кузя наш подошёл поздним вечером под светлое оконце брусяной десятской избы; пропел песенку свою, тряхнул осколышами гуслей в мешке — нет ответу, ни привету, а шум и тары да бары в избе слышатся большие. Подошёл Кузя поближе, вплоть под окно; глянул — сидят бабы; прислушался — идут у них толки о нечистой силе, про знахарей, волхвов, кудесников да про киевских ведьм. Всего, чего бедный Кузя наслушался у окна, пересказывать не станем. «Бабы дуры, — подумал он и сам, как отошёл, и затянул ту же песню свою под другим окном, — кто бабе поверит, и трёх дней не проживёт»; одначе долго у него не выходило из головы, как бабы клялись и божились, что коли кто чары творит да зажмёшь в это время пальцем сучок в стене бревенчатой избы, так пересилишь его; а ещё говорили, что ведьму, знахаря, колдуна и всякого, кто только спознался да живёт с нечистой силой, можно пригвоздить к месту и покорить себе на живот и на смерть, коли приколоть булавкой тень его к земле либо к стене: бедняга пропал тогда и с нечистым своим; будет моргать очами да повёртываться, что на колу, и наконец взмолится: *аман!* перед булавкой твоей, как турок неверный перед русским

штыком!

Бедный Кузя рылся как-то в золе, в сору и в навозе, собирая кости, которые он жёг и продавал на ваксу и на разные снадобья какому-то засевшему в ближнем уездном городке осколышу наполеоновской армии, учителю всякой всячины и досужему делателю ваксы и помады, — как вдруг к нему, к Кузе, подошёл, отколь ни взялся, цыган ли, татарин ли какой, поглядел на него и присел на кучку навоза, будто хотел стеречи её от суковатой клюки бедного Кузи. Кузя поглядел на него искоса, стал опять разгребать сор поодаль от шабра, от соседа, и сметил, что новый сторож, на кучке сидючи, дремал. «Кто это?» — спросил тогда Кузя потихоньку шальную Мотрю, которая пасла телят и свиней. «Неужто ты эту собаку не знаешь? — сказала Мотря шальная. — Это Будунтай, чёртов пай, всем ведомый перемётчик; он в Вятке барсуком из норы вылез, в свояки семи шаманам сибирским приписался, под Чудовом в козла оборотился, в Вологде свечой подавился, да кабы казанские татары не сняли с него шкуры на сафьян, так бы и светильня за ним пропала! Он перекинулся в тройку бегунов, а из них две лошадёнки белые, а одна голая, — да и ушёл на три стороны; ищи его! Вот он за что и слывёт у

нас перемётчиком, что перекидывается, собака, во что ни задумал!»

Бедный Кузя оглянулся на Будунтая, испугавшись голосистого крика шальной Мотри, а уж Будунтая и нет: на том месте, где он сидел, лежит только камень, а камня того, кажись, прежде не было. Кузя застрогал деревянную шпильку, подкрался к камню против солнца, да и приколол тень камня того к земле. «Что-то будет?» — подумал он. Долго камень лежал да отмалчивался, а Кузя стал разгребать под ним кучу навоза. Тогда и камень не утерпел: он перекинулся пошехонцем, в поршнях, в зипуне, с берестовой котомкой за плечами, и стал просить Кузю, чтобы он не ругался над бедным, бездомным подёнщиком, чтобы не подрывался под него суковатою клюкою, а вынул бы колышек, на который-де того и гляди напорет ногу. Тогда Кузя наш догадался, что Будунтай недаром о колке заговаривает, и не вынул его, доколе тот не посулил ему за волю свою любою.

— Сокрушил меня, злодей! Проси чего хочешь, — сказал наконец Будунтай, а самого сердце так и подмывает; потом снял шапку, отёр пот с чела полотенцем с алыми щитками да со владимирскими городочками и вздохнул тяжело,

словно в оглоблях.

— Выучи меня своему досужеству, — стал тогда просить бедный Кузя.

— Изволь, — отвечал Будунтай, — отпусти ж меня!

— Нет, врёшь, обманешь, в лес уйдёшь, — приговаривала шальная Мотря.

— Дай задаток, — сказал Кузя, — видно, Мотря шальная правду говорит: мужик тонет — топор сулит, вытащишь — и топорища жаль! Дай задаток, а не то не отпущу!

Будунтай разгрёб, не вставая с места, под собою кучу, достал горсть алтына, золота и высыпал его Кузе в котомку.

— Врёт, обманет, в лес уйдёт, — приговаривала опять Мотря.

— Всё это хорошо, — сказал Кузя, — да этого мало; надо мне тебя затаврить, чтобы ты не ушёл, да окорнать для приметы одно ухо; пой песни, хоть тресни, а без пометы не пущу; ты не курица, ногавки на тебе не навяжешь — давай ухо!

Будунтай-перемётчик осерчал, стал браниться по-своему, по-вятски:

— Чего *талы*[2] натаращил на меня, *блябла*[3] те в ухо, чтоб тебя *комуха*[4] в *ромух*[5] свернула! Чтоб тебя *уроса*[6] в *вицу*[7] иссушила да *шоры*[8] и *с ильки*[9] пупочки с тебя посклевали! Бери нож, — сказал он наконец, — да режь ухо!

— Нет у меня ножа, — отвечал Кузя, — доставай свой, не то зубом грызть стану!

Будунтай снял с пояса складной нож, раскинул его, подал Кузе и подставил правое ухо.

— Левое давай, собака, — сказал Кузя, — недаром что-то ты его отворачиваешь!

Будунтай подставил и левое. Кузя ухватил ухо, перегнул его, как сгибают сапожный товар, когда клюшву выкраивают, вырезал и ускорнячок углом, положил лоскут в котомку, где лежали гусли, и выдернул из земли колышек. Будунтай

---

[2] Примечания: 2
Глаза.

[3] Примечания: 3
Оплеуха.

[4] Примечания: 4
Лихорадка.

[5] Примечания: 5
Тряпица.

[6] Примечания: 6
Упрямца; это испорченное татарское урус, русский. И поляки говорят: *uparty jar Moscal.*

[7] Примечания: 7
Хворостина.

[8] Примечания: 8
Индейки.

[9] Примечания: 9
Цыплята.

только крякнул, встал, встряхнулся, в чёрного петуха обернулся и приказал Кузе приходить в самую полночь за село, на распутье, где дороги разбегаются: в лес, на водопойное озеро да на кладбище. Сам взмахнул крыльями, перекинулся рябой сорокой и полетел, как сороки летают, поджимая крылышки под мышку, да всё прямо, что из лука стрела.

Бедный Кузя пришёл домой, высыпал старикам своим пригорёть золота, сказал, что богатый человек берёт его в услужение да в ученье и вот прислал-де им задаток. Старики порадовались и потужили; сын покинул им отставные гусли и пошёл в полночь на перепутье.

Прислонившись к верстовому столбу, прождал он уже долгонько, стало время за полночь, а Будунтая нет. Кузя сказал про себя: «Недаром, видно, Мотря честила тебя; видно, знает она дружка! Ну, да меня теперь не проведёшь, от меня в лес не уйдёшь!» Сам вынул ухо Будунтая и укусил его зубами. Столб, у которого стоял бедный Кузя, взвизгнул по-верблюжьи и закачался. Кузя отскочил в сторону, поглядел на версту, на столб:

— Кой черт! Ты, что ли, это, Будунтай?

— Я! Да что ж ты кусаешься, знаком? — сказал пегашка-столб, — пойдём, что с тобой делать,

пойдём ко мне в науку; да только гляди, теперь ты мне слуга, поколе не выучишься всему досужеству моему, от аза до ижицы!

— А там что, — спросил Кузя, — как выучусь?

— А там, — отвечал Будунтай, — на свой пай сам промышляй; беркут писклёнка кормит, а орла не кормит.

Будунтай взял его и продержал в науке довольно долгое время. Как он учил его своему художеству? — спросите. Да вот как: выдернет у него руки, ноги, самого в ком свернёт — вот вам кочан капусты; запустит ему руку в глотку по самое плечо, ухватит там за что ни попало, вывернет наизнанку — вот вам ни то ни се, ни чёрт знает что. Такое ученье бедному Кузе наскучило и надоело; он стал проситься домой, уверяя, что он уже всю науку прошёл и всему научился. Будунтай-перемётчик позвал стариков, родителей его, вывел им трёх коней и спросил: «Который ваш сын?» Старик поглядел да и указал, наудалую, на авось, среднюю. «Нет, — отвечал Будунтай, — знать, сын твой недоучился. Поди и приходи через полгода».

Вы знаете, ребята, что ждать полгода долго, страх долго; а между тем оглянись назад, его уже и нет!

Старик пришёл в срок, а Кузя как-то тихомолком шепнул ему: «Укажи-де на ту кобылу, которая будет вертеть хвостом». Но Будунтай вывел ему трёх куцых куропаток и велел узнать сына. Старик указал опять на какую попало — и не угадал. Кузя известил отца, что в следующий раз будет оправлять носом пёрышки на шейке, — а Будунтай вывел опять коней. Средний махнул, однако ж, хвостом, старик его узнал и взял выученного сына домой. «Возьми его, — сказал перемётчик Будунтай, — да слушай: береги его, как око своё; если ж понадобятся тебе деньги, то вели сыну оборотиться в коня, веди на базар и продавай; да только смотри, уздечки с ним не отдавай, а сыми да неси домой, так и он дома будет». Колдун махнул рукой и пропал, словно сквозь землю провалился; а лошади оборотились в людей; вороной жеребчик — в Кузю бесталанного, рыжая кобыла — в шальную Мотрю, а чалый мерин — никак в тебя, Терёшка!

Старик пришёл с сыном домой, дождался торгового дня: Кузя оборотился конём, отец повел его на базар, продал, накупил сладкого и горького, квашеного и солёного — а он, вишь, держался русской поговорки: пей кисло да ешь солоно, так и на том свете не сгниёшь. Накупивши всего, что-

бы было чем полакомить и старуху свою, пошёл домой, а Кузя, его сын бесталанный, дорогою его нагнал, и они опять оба вместе, рассмеявшись да порадовавшись, как ни в чём не бывало, воротились домой.

А ушёл наш Кузя от нового хозяина своего вот каким делом: ржевский мещанин, барышник, приехавший в нашу сторону закупать лошадей, чтобы там гнать их на Лебедянскую ярмарку, сторговал и купил у старика гусляра каракового коня, четырёх лет, трёх с половиною вершков, без тавра и без отметин, поспорил было с хозяином за то, что этот, поупрямившись, не хотел передать ему, как водится, повод новокупки из полы в полу, а с коня, не по обычаю, снял недоуздок, — известно, что корова покупается с подойником, а конь с недоуздком, — наконец, однако же, чтобы не упустить сходной покупки, на всё согласился и заплатил гусляру деньги. Не успел этот отойти, а ржевский барышник оглянулся на бойкую, голосистую торговку, с которой тем часом молодой калмыцкий жеребчик стянул зубами головной платок, как народ, обступив нашего коновала и барышника, стал хохотать и указывать на него пальцами. Ржевский мещанин оглянулся назад — у него в поводу не конь, а человек. Что тут было

шуму, крику, брани, божбы и смеху — весь базар расходился; казаки отняли у рыжего коновала бедного Кузю; этого отпустили, а того прозвали полоумным. Хотел он было идти просить — да к кому пойдёшь и на кого? Но это, слышь, не всё, а была ещё потеха вот какая: крымский цыган, подкочевавший на базар с походкою кузницею и увидевший, что приключилось со ржевским коновалом, рассудил, что Кузькино ремесло неплохой хлеб и что не худо бы попытаться перенять у него доброе дело; загадано — сделано; цыган продал тому же барышнику клячонку свою, а потом украл её у него же из рук, передал товарищу, а сам надел на себя недоуздок. Когда же барышник наш оглянулся и снова увидел, что ведёт в поводу не коня, а живого человека, только другой масти, смурого цыгана, то плюнул, кинул повод, перекрестился, прочёл: «С нами крестная сила» и «Помилуй мя, Господи!» — уехал с базару и с той поры в Черкасск более ни ногой. Ну его, рыжего, к семи Семионам, обойдёмся и без барышников! Только, окаянные, цены портят, с чужого добра сбивают, на своё наносят да набивают, а проку в них ни на волос!

Дождавшись другого базарного дня, гусляр наш опять вывел лошадёнку на продажу. На грех, на-

вязался какой-то шестипалый пройдоха, подпоил нашего старика, присударивал да присударивал и купил у пьяного гусляра коня и увёл его совсем, с недоуздком. Старик пришёл домой, проспался, спохватился, да ожидает сына своего чуть ли не поныне.

На этот раз купил Кузю бесталанного сам Будунтай. Первым делом Будунтая было отрезать у новокупли левое ухо, на обмен, на выкуп своего, которого иверень о сю пору ещё оставался за Кузею. Разменявшись, оба они стали с ушами; да уж отныне, хоть и был Кузя по-прежнему мастером науки, в которой искушался на выучке у Будунтая, не стало ему, однако же, более по-прежнему власти над учителем своим, а должен был Кузя поневоле ему покориться.

Будунтай, изморивши да загонявши коня новокупленного до бела мыла и задавши на нём концов десяток-другой по городу, прискакал домой — а дом у него стоял в чистом поле невидимкою — и привязал лошадь подле тыну. Никак, у тебя, Лукашка, кобыла была из Гукеевской орды, что не терпела на себе в стойле недоузда: бывало, как ни пригонишь на неё оброть, как ни подтянешь его пряжкою, она дотоле чешется, доколе не скинет его с головы долой. Кузя бесталанный

у неё, знать, наострился, только что Будунтай в избу, а он ну чесаться щекою, задрав голову кверху, — задел недоуздком за кол плетня, да и стащил его долой с головы через уши.

Мальчишка, сын Будунтая, увидел это, на дворе стоя, и побежал сказать отцу. Тот, выскочив, пустился в погоню за конём, и тут-то пошла потеха: Кузя, видя, что лютый барс его нагоняет, ударился об землю, перекинулся белым кречетом и взмыл по-над крутым берегом реки. Будунтай ударился на него сизым беркутом; Кузя ринулся клубом об берег, перекинулся пескарём и соскочил в воду. Будунтай таки прямо как мчался за ним, комом грянулся об воду, распластав высокий вал надвое, и щукою зубастой насел на хвост мелькавшего серебряной чешуйкой пескарика. Кузя-бедняга вынырнул стрелою из воды, сделал, собравшись с последними силами, скачок в маховую сажень, обернулся в золотое колечко и подкатился под ноги гулявшей в те поры на муравке побережной княжны Милолики, дочери владельца той земли. Княжна Милолика подхватила колечко, надела его на пальчик и с радостным удивлением оглядывалась вокруг. Будунтай вынырнул гусем лапчатым из воды, выплыл на берег, встряхнулся, оборотился в купца кашемирского, подошёл

к княжне и стал просить убедительно отдать ему потерянное им колечко. Княжна испугалась густой чёрной бороды и воровских карих очей да сурменых бровей и чалмы кашемирца, закричала и прижала колечко к груди своей. Сенные девушки да подруженьки набежали, окружили младую княжну свою, кинулись все на неотступного бородача и начали его щекотать без пощады, до того, что незваный гость хохотал, и кашлял, и плакал, и чихал, и ногами и руками лягался, и снопом овсяным по мураве катался, да такая над ним беда прилучилася, что позабыл было всю науку свою; через великую силу опамятовавшись, оборотился он мигом в ежа, от которого девушки, поколов алые пальчики свои чуть ли не до крови, с криком отскочили. Пастух, прибежавший на крик и шум, взмахнул долгим посохом своим и ударил свернувшегося тугим клубом ежа, и ёж рассыпался калёными орехами; запрыгали орешки по земле, а девки кинулись их подбирать, да опять-таки с криком отскочили, побросав всё, что захватили в лайковые ручки свои: орешки не тем отозвались, это были раскалённые ядрышки, и барышни наши пообжигали себе пальчики.

— А я бы рукавицы надел да подобрал, — сказал косолапый Терёшка.

— Знать, ты умён чужим умом; ты и в Киев дойдёшь, коли люди дорогу укажут, — отвечал сват, — а сам ты, брат, и лапы обжёгши, не очень бы догадался, как управиться: чай, стоял бы, вытулив очи, да поглядывал бы на диво дивное, что красноносый гусь на татарскую грамоту!

Княжна показала царственным родителям своим ненаглядное колечко да испросила позволение любить его и не сымать с пальчика своего ни день, ни ночь. Как только осталась она одна, то и начала играть колечком: надела его на тонкий шитый платочек свой и, забавляясь, покачивала да перепускала по платочку от конца до конца. Вдруг колечко как-то упало, покатилось, рассыпалось — и казак, молодецкая душа, Кузя бесталанный, стоял перед княжною. Он убрался на этот раз в малиновый бархат да в тонкое синее сукно. Никто в палатах царских не слыхал разговоров его; княжна, однако же, вышла к браному столу и грустна и радостна, и опять-таки с заветным колечком на руке. Она сказала только батюшке, что сего дня-де, наверное, опять явится тот страшный купец, кашемирская борода, и будет просить выдачи колечка, и умоляла отца не отбирать у неё этого сокровища. Когда же и на самом деле по вечеру явился купец, у которого всё

ещё не прошла икотка после вчерашней щекотки да хохотни, когда пришёл, говорю, кашемирец за потерянным будто бы на берегу реки колечком, то царь-отец позвал дочь свою и приказывал отдать купцу кольцо: «Нам чужое добро таить, дескать, не идёт». Княжна отвечала, что не смеет ослушаться дорогого родителя своего, но и не может передать мужчине колечко из рук в руки, а поэтому и кинула его на пол, пусть-де не прогневается да сам подымет. Но колечко рассыпалось мелким жемчугом; купец живо встряхнулся, перекинулся чёрным петухом и начал проворно подбирать жемчужинки; а подобравши все, взлетел он на окно, захлопал крыльями и закричал петухом: «Кузя, где ты?» — да за словом и выпорхнул в окно. Но княжна, которую наш Кузя, видно, наперёд уже подучил да настроил, кинув колечко, уронила в то же время, будто невзначай, платок свой да им и прикрыла одну самую крупную жемчужинку. Она-то вдруг выкатилась теперь из-под платка, отвечала на спрос петуха, словно петухом же: «А я здеся!» — и ринулась соколом из окна; грянул сокол с налёту — только шикнул крыльями по воздуху, — грянул клубом в чёрного петуха, подпорол ему заборным ногтем левый бок да черканул по левому крылу, помял

и поломал все перья правильные; упал камнем петух замертво в крутоберегий поток, и понесло его волною вниз по реке, по зелёной воде. Почернела и побагровела вода от пенистой крови; а подрезанное левое крыло вскинуло и подняло ветром, оно и запарусило туда ж по пути, вниз по реке, поколе не завертело петуха встречным теченьем в заводи, — там, сказывают, сомина, чёртова образина, им было подавился, да нет, справился, проглотил; не подавится он, чай, и самим Сатаной, не токмо конём его подседельным.

Сокол взмыл над теремом царским, впорхнул в широкое окно, сел на руку княжны своей и поглядывал на неё ясными, разумными очами. В это самое время чёрный петух испустил дыхание своё, а ясный сокол спорхнул на пол и предстал в том же виде, как колечко давеча, перед княжною: перекинулся молодцом молодецким. Со смертию Будунтая Кузя лишился, правда, силы и уменья перекидываться и принимать иной образ, да и не тужил уж об этом; живучи в довольстве и в богатстве с супругою своею, бывшею княжною Милоликою, вскоре наследовал он престол царский, жил да княжил, правил да рядил, солоно ел да кисло пил, стариков своих, гусляров, поил да кормил, а Терёшке косолапому велел братчиной

да складчиной насыпать песку за голенища! Держите его, дурака, ребята, держи его!

Владимир Фёдорович Одоевский (1804–1869)

Сказка о том, по какому случаю коллежскому советнику Ивану Богдановичу Отношенью не удалося в Светлое воскресенье поздравить своих начальников с праздником

Во светлой мрачности блистающих ночей
Явился тёмный свет из солнечных лучей.

Кн. Шаховской

Коллежский советник Иван Богданович Отношенье, — в течение сорокалетнего служения своего в звании председателя какой-то временной комиссии, — провождал жизнь тихую и безмятежную. Каждое утро, за исключением праздников, он вставал в 8 часов; в 9 отправлялся в комиссию, где хладнокровно, — не трогаясь ни сердцем, ни с места, не сердясь и не ломая головы понапрасну, — очищал нумера, подписывал отношения, помечал входящие. В сём занятии проходило утро. Подчинённые подражали во всём своему начальнику: спокойно, бесстрастно писали, переписывали бумаги и составляли им

реестры и алфавиты, не обращая внимания ни на дела, ни на просителей. Войдя в комиссию Ивана Богдановича, можно было подумать, что вы вошли в трапезу молчальников, — таково было её безмолвие. Какая-то тень жизни появлялась в ней к концу года, пред составлением годовых отчётов; тогда заметно было во всех чиновниках особенного рода движение, а на лице Ивана Богдановича даже беспокойство; но когда по составлении отчёта Иван Богданович подводил итог, тогда его лицо прояснялось и он, — ударив по столу рукою и сильно вздохнув, как после тяжкой работы, — восклицал: «Ну, слава богу! в нынешнем году у нас бумаг вдвое более против прошлогоднего!» — и радость разливалась по целой комиссии, и назавтра снова с тем же спокойствием чиновники принимались за обыкновенную свою работу; подобная же аккуратность замечалась и во всех действиях Ивана Богдановича: никто ранее его не являлся поздравлять начальников с праздником, днём именин или рожденья; в Новый год ничьё имя выше его не стояло на визитных реестрах; мудрено ли, что за всё это он пользовался репутациею основательного, делового человека и аккуратного чиновника. Но Иван Богданович позволял себе и маленькие наслаждения: в будни

едва било 3 часа, как Иван Богданович вскакивал с своего места, — хотя бы ему оставалось поставить одну точку к недоконченной бумаге, — брал шляпу, кланялся своим подчинённым и, — проходя мимо их, говорил любимым чиновникам — двум начальникам отделений и одному столоначальнику: «Ну… сегодня… знаешь?» Любимые чиновники понимали значение этих таинственных слов и после обеда являлись в дом Ивана Богдановича на партию бостона; и аккуратным поведением начальника было произведено столь благодетельное влияние на его подчинённых, что для них — поутру явиться в канцелярию, а вечером играть в бостон — казалось необходимою принадлежностию службы. В праздники они не ходили в комиссию и не играли в бостон, потому что в праздничный день Иван Богданович имел обыкновение после обеда, — хорошенько расправив свой Аннинский крест, — выходить один или с дамами на Невский проспект; или заходить в кабинет восковых фигур или в зверинец, а иногда и в театр, когда давали весёлую пьесу и плясали по-цыгански. В сём безмятежном счастии протекло, как сказал я, более сорока лет, — и во всё это время ни образ жизни, ни даже черты лица Ивана Богдановича нимало не изменились; только он

стал против прежнего немного поплотнее.

Однажды случись в комиссии какое-то экстренное дело, и, вообразите себе, в самую страстную субботу; с раннего утра собрались в канцелярию все чиновники, и Иван Богданович с ними; писали, писали, трудились, трудились и только к 4 часам успели окончить экстренное дело. Устал Иван Богданович после девятичасовой работы; почти обеспамятел от радости, что сбыл её с рук и, проходя мимо своих любимых чиновников, не утерпел, проговорил: «Ну… сегодня… знаешь?» Чиновники нимало не удивились сему приглашению и почли его естественным следствием их утреннего занятия, — так твёрдо был внушён им канцелярский порядок; они явились в урочное время, разложились карточные столы, поставились свечи, и комнаты огласились весёлыми словами: шесть в сюрах, один на червях, мизер увёрт и проч. и т. п.

Но эти слова достигли до почтенной матушки Ивана Богдановича, очень набожной старушки, которая имела обыкновение по целым дням не говорить ни слова, не вставать с места и прилежно заниматься вывязыванием на длинных спицах фуфаек, колпаков и других произведений изящного искусства. На этот раз отворились

запёкшиеся уста её, и она прерывающимся от непривычки голосом произнесла:

— Иван Богданович! А! Иван Богданович! что ты… это?.. ведь это… это… это… не водится… в такой день… в карты… Иван Богданович!.. а!.. Иван Богданович! что ты… что ты… в эдакой день… скоро заутреня… что ты…

Я и забыл сказать, что Иван Богданович, тихий и смиренный в продолжение целого дня, делался львом за картами; зелёный стол производил на него какое-то очарование, как Сивиллин треножник, — духовное начало деятельности, разлитое природою по всем своим произведениям; потребность раздражения; то таинственное чувство, которое заставляет иных совершать преступления, других изнурять свою душу мучительною любовию, третьих прибегать к опиуму, — в организме Ивана Богдановича образовалось под видом страсти к бостону; минуты за бостоном были *сильными минутами* в жизни Ивана Богдановича; в эти минуты сосредоточивалась вся его душевная деятельность, быстрее бился пульс, кровь скорее обращалась в жилах, глаза горели, и весь он был в каком-то самозабвении.

После этого немудрено, если Иван Богданович почти не слыхал или не хотел слушать слов ста-

рушки, к тому же в эту минуту у него на руках были десять в сюрах, — неслыханное дело в четверном бостоне!

Закрыв десятую взятку, Иван Богданович отдохнул от сильного напряжения и проговорил:

— Не беспокойтесь, матушка, ещё до заутрени далеко; мы люди деловые, нам нельзя разбирать времени, нам и Бог простит — мы же тотчас и кончим.

Между тем на зелёном столе ремиз цепляется за ремизом; пулька растёт горою; приходят игры небывалые, такие игры, о которых долго сохраняется память в изустных преданиях бостонной летописи; игра была во всём пылу, во всей красе, во всём интересе, когда раздался первый выстрел из пушки; игроки не слыхали его; они не видали и нового появления матушки Ивана Богдановича, которая, истощив всё своё красноречие, молча покачала головою и наконец ушла из дома, чтобы приискать себе в церкви место поспокойнее.

Вот другой выстрел — а они всё играют: ремиз цепляется за ремизом, пулька растёт, и приходят игры небывалые.

Вот и третий, игроки вздрогнули, хотят приподняться, — но не тут-то было: они приросли к стульям; их руки сами собою берут карты, тасуют,

раздают; их язык сам собою произносит заветные слова бостона; двери комнаты сами собою прихлопнулись.

Вот на улице звон колокольный, все в движении, говорят прохожие, стучат экипажи, а игроки всё играют, и ремиз цепляется за ремизом.

«Пора б кончить!» — хотел было сказать один из гостей, но язык его не послушался, как-то странно перевернулся и, сбитый с толку, произнёс:

— Ах! что может сравниться с удовольствием играть в бостон в Страстную субботу.

«Конечно! — хотел отвечать ему другой. — Да что подумают о нас домашние?» — Но и его язык также не послушался, а произнёс:

— Пусть домашние говорят что хотят, нам здесь гораздо веселее.

С удивлением слушают они друг друга, хотят противоречить, но голова их сама нагибается в знак согласия.

Вот отошла заутреня, отошла и обедня; добрые люди, — а с ними матушка Ивана Богдановича, — в весёлых мечтах сладко разговеться залегли в постелю; другие примеривают мундир, справляются с адрес-календарём, выправляют визитные реестры. Вот уже рассвело, на улицах чокаются, из карет выглядывает золотое шитьё, треуголь-

ные шляпы торчат на фризовых и камлотных шинелях, курьеры навеселе шатаются от дверей к дверям, суют карточки в руки швейцаров и половину сеют на улице, мальчики играют в биток и катают яйца.

Но в комнате игроков всё ещё ночь; всё ещё горят свечи; игроков мучит совесть, и голод, и сон, и усталость, и жажда; судорожно изгибаются они на стульях, стараясь от них оторваться, но тщетно: усталые руки тасуют карты, язык выговаривает «шесть» и «восемь», ремиз цепляется за ремизом, пулька растёт, приходят игры небывалые.

Наконец догадался один из игроков и, собрав силы, задул свечки; в одно мгновение они загорелись чёрным пламенем; во все стороны разлились тёмные лучи, и белая тень от игроков протянулась по полу; карты выскочили у них из рук: дамы столкнули игроков со стульев, сели на их место, схватили их, перетасовали, — и составилась целая масть Иванов Богдановичей, целая масть начальников отделения, целая масть столоначальников, и началась игра, игра адская, которая никогда не приходила в голову сочинителя «Открытых таинств картёжной игры».

Между тем короли уселись на креслах, тузы

на диванах, валеты снимали со свечей, десятки, словно толстые откупщики, гордо расхаживали по комнате, двойки и тройки почтительно прижимались к стенкам.

Не знаю, долго ли дамы хлопали об стол несчастных Иванов Богдановичей, загибали на них углы, гнули их в пароль, в досаде кусали зубами и бросали на пол…

Когда матушка Ивана Богдановича, тщетно ожидавшая его к обеду, узнала, что он никуда не выезжал, и вошла к нему в комнату, — он и его товарищи, усталые, измученные, спали мёртвым сном: кто на столе, кто под столом, кто на стуле…

И по канцеляриям долго дивились: отчего Ивану Богдановичу не удалось в Светлое воскресенье поздравить своих начальников с праздником?

Иван Васильевич Киреевский (1806–1856)

Опал

Царь Нурредин шестнадцати лет взошёл на престол сирийский. Это было в то время, когда, по свидетельству Ариоста, дух рыцарства подчинил все народы одним законам чести и все племена различных исповеданий соединил в одно поклонение красоте.

Царь Нурредин не без славы носил корону царскую; он окружил её блеском войны и побед и гром оружия сирийского разнёс далеко за пределы отечественные. В битвах и поединках, на пышных турнирах и в одиноких странствиях, среди мусульман и неверных — везде меч Нурредина оставлял глубокие следы его счастия и отважности. Имя его часто повторялось за круглым столом двенадцати храбрых, и многие из знаменитых сподвижников Карла носили на бесстрашной груди своей повесть о подвигах Нуррединовых, начертанную чёткими рубцами сквозь их прорубленные брони.

Так удачею и мужеством добыл себе сирийский царь и могущество, и честь; но оглушённое громом брани сердце его понимало только одну красоту — опасность и знало только одно чувство

— жажду славы, неутолимую, беспредельную. Ни звон стаканов, ни песни трубадуров, ни улыбки красавиц не прерывали ни на минуту однообразного хода его мыслей; после битвы готовился он к новой битве; после победы искал он не отдыха, но задумывался о новых победах, замышлял новые труды и завоевания.

Несмотря на то, однако, раз случилось, что Сирия была в мире со всеми соседями, когда Оригелл, царь китайский, представил мечу Нурредина новую работу. Незначительные распри между их подданными дошли случайно до слуха правителей; обида росла взаимностью, и скоро смерть одного из царей стала единственным честным условием мира.

Выступая в поход, Нурредин поклялся головою и честью перед народом и войском: до тех пор не видать стен дамасских, покуда весь Китай не покорится его скипетру и сам Оригелл не отплатит своею головою за обиды, им нанесённые. Никогда ещё Нурредин не клялся понапрасну.

Через месяц все области китайские, одна за другою, поклонились мечу Нурредина. Побеждённый Оригелл с остатком избранных войск заперся в своей столице. Началась осада.

Не находя средств к спасению, Оригелл стал

просить мира, уступая победителю половину своего царства. Нурредин отвечал, что со врагами не делится, — и осада продолжается.

Войско Оригеллово ежедневно убывает числом и упадает духом; запасы приходят к концу; Нурредин не сдаётся на самые униженные просьбы.

Уныние овладело царём китайским; всякий день положение Оригелла становится хуже; всякий день Нурредин приобретает новую выгоду. В отчаянии китайский царь предложил Нурредину всё своё царство китайское, все свои владения индийские, все права, все титлы, с тем только, чтобы ему позволено было вывезти свои сокровища, своих жён, детей и любимцев. Нурредин оставался неумолимым, — и осада продолжается.

Наконец, видя неизбежность своей погибели, Оригелл уступает всё, и сокровища, и любимцев, и детей, и жён, и просит только о жизни. Нурредин, припомнив свою клятву, отверг и это предложение.

Осада продолжается ежедневно сильнее, ежедневно неотразимее. Готовый на всё, китайский царь решился испытать последнее, отчаянное средство к спасению: чародейство.

В его осаждённой столице стоял огромный старинный дворец, который уже более века

оставался пустым, потому что некогда в нём совершено было ужасное злодеяние, столь ужасное, что даже и повесть о нём исчезла из памяти людей; ибо кто знал её, тот не смел повторить другому, а кто не знал, тот боялся выслушать. Оттого преданье шло только о том, что какое-то злодеяние совершилось и что дворец с тех пор оставался нечистым. Туда пошёл Оригелл, утешая себя мыслию, что хуже того, что будет, не будет.

Посреди дворца нашёл он площадку; посреди площадки стояла палатка с золотою шишечкой; посреди палатки была лестница с живыми перильцами; лестница привела его к подземному ходу; подземный ход вывел его на гладкое поле, окружённое непроходимым лесом; посреди поля стояла хижина; посреди хижины сидел Дервиш и читал Чёрную Книгу. Оригелл рассказал ему своё положение и просил о помощи.

Дервиш раскрыл Книгу Небес и нашёл в ней, под какою звездою Нурредин родился, и в каком созвездии та звезда, и как далеко отстоит она от подлунной земли.

Отыскав место звезды на небе. Дервиш стал отыскивать её место в судьбах небесных и для того раскрыл другую книгу. Книгу Волшебных Знаков, где на чёрной странице явился перед ним

огненный круг: много звёзд блестело в кругу и на окружности, иные внутри, другие по краям; Нуррединова звезда стояла в самом центре огненного круга.

Увидев это, колдун задумался и потом обратился к Оригеллу с следующими словами:

«Горе тебе, царь китайский, ибо непобедим твой враг и никакие чары не могут преодолеть его счастия; счастье его заключено внутри его сердца, и крепко создана душа его, и все намерения его должны исполняться; ибо он никогда не желал невозможного, никогда не искал несбыточного, никогда не любил небывалого, а потому и никакое колдовство не может на него действовать!

Однако, — продолжал Дервиш, — я мог бы одолеть его счастье, я мог бы опутать его волшебствами и наговорами, если бы нашлась на свете такая красавица, которая могла бы возбудить в нём такую любовь, которая подняла бы его сердце выше звезды своей и заставила бы его думать мысли невыразимые, искать чувства невыносимого и говорить непостижимое; тогда мог бы я погубить его.

Ещё мог бы я погубить его тогда, когда бы нашёлся в мире такой старик, который бы пропел ему такую песню, которая бы унесла его за три-

девять земель в тридесятое государство, куда звёзды садятся.

Ещё мог бы я погубить его тогда, когда бы в природе нашлось такое место, с горами, с пригорками, с лесами, с долинами, с реками, с ущельями, такое место, которое было бы так прекрасно, чтобы Нурредин, засмотревшись на него, позабыл хотя на минуту обыкновенные заботы текущего дня.

Тогда мои чары могли бы на него действовать.

Но на свете нет такой красавицы, нет в мире такого старика, нет такой песни и нет такого места в природе.

Потому Нурредин погибнуть не может.

А тебе, китайский царь, спасенья нет и в чародействах».

При этих словах чернокнижника отчаяние Оригелла достигло высшей степени, и он уже хотел идти вон из хижины Дервиша, когда последний удержал его следующими словами:

«Погоди ещё, царь китайский! ещё есть одно средство погубить твоего врага. Смотри: видишь ли ты звезду Нуррединову? Высоко, кажется, стоит она на небе; но, если ты захочешь, мои заклинанья пойдут ещё выше. Я сорву звезду с неба; я привлеку её на землю; я сожму её в искорку;

я запру её в темницу крепкую, — и спасу тебя; но для этого, государь, должен ты поклониться моему владыке и принести ему жертву подданническую».

Оригелл согласился на всё. Трын-трава закурилась, знак начерчен на земле, слово произнесено, и обряд совершился.

В эту ночь — войска отдыхали и в городе и в стане — часовые молча ходили взад и вперёд и медленно перекликались; вдруг какая-то звёздочка сорвалась с неба и падает, падает — по тёмному своду, за тёмный лес; часовые остановились: звезда пропала — куда? неизвестно; только там, где она падала, струилась ещё светлая дорожка, и то на минуту; опять на небе темно и тихо; часовые опять пошли своею указною дорогою.

Наутро оруженосец вошёл в палатку Нурредина: «Государь! какой-то монах с горы Араратской просит видеть светлое лицо твоё; он говорит, что имеет важные тайны сообщить тебе».

«Впусти его!»

«Чего хочешь ты от меня, святой отец?»

«Государь! шестьдесят лет не выходил я из кельи, в звёздах и книгах испытуя премудрость и тайны создания. Я проник в сокровенное природы; я вижу внутренность земли и солнца;

будущее ясно глазам моим; судьба людей и народов открыта передо мною!..»

«Монах! чего хочешь ты от меня?»

«Государь! я принёс тебе перстень, в котором заключена звезда твоя. Возьми его, и судьба твоя будет в твоих руках. Если ты наденешь его на мизинец левой руки и вглядишься в блеск этого камня, то в нём предстанет тебе твоё счастье; но там же увидишь ты и гибель свою, и от тебя одного будет зависеть тогда твоя участь, великий государь...»

«Старик! — прервал его Нурредин, — если всё сокровенное открыто перед тобой, то как же осталось для тебя тайною то, что давно известно всему миру? Может быть, только ты один не знаешь, столетний отшельник, что судьба Нурредина и без твоего перстня у него в руках, что счастие его заключено в мече его. Не нужно мне другой звезды, кроме той, которая играет на этом лезвии, — смотри, как блещет это железо и как умеет оно наказывать обманщиков!..»

При этом слове Нурредин схватил свой меч; но когда обнажил его, то старый монах был уже далеко за палаткою царскою, по дороге к неприятельскому стану. Через несколько минут оруженосец снова вошёл в ставку Нурредина.

«Государь! Монах, который сейчас вышел от тебя, возвращался опять. Он велел мне вручить тебе этот перстень и просит тебя собственными глазами удостовериться в истине его слов».

«Где он? Приведи его сюда!»

«Оставя мне перстень, он тотчас же скрылся в лесу, который примыкает к нашему лагерю, и сказал только, что придёт завтра».

«Хорошо. Оставь перстень здесь и, когда придёт монах, пусти его ко мне».

Перстень не блестел богатством украшений. Круглый опал, обделанный в золоте просто, тускло отливал радужные краски.

«Неужели судьба моя в этом камне? — думал Нурредин. — Завтра вернее узнаешь ты свою судьбу от меня, дерзкий обманщик!..» И между тем царь надевал перстень на мизинец левой руки и, смотря на переливчатый камень, старался открыть в нём что-нибудь необыкновенное.

И в самом деле, в облачно-небесном цвете этого перстня был какой-то особенный блеск, которого Нурредин не замечал прежде в других опалах. Как будто внутри его была спрятана искорка огня, которая играла и бегала, то погасала, то снова вспыхивала и при каждом движении руки разгоралась всё ярче и ярче.

Чем более Нурредин смотрел на перстень, тем яснее отличал он огонёк и тем прозрачнее делался камень. Вот огонёк остановился яркою звёздочкой глубоко внутри опала, которого туманный блеск разливался внутри её, как воздух вечернего неба, слегка подёрнутого лёгкими облаками.

В этом лёгком тумане, в той светлой, далёкой звёздочке было что-то неодолимо привлекательное для царя сирийского; не только не мог он отвести взоров от чудесного перстня, но, забыв на это время и войну, и Оригелла, он всем вниманием и всеми мыслями утонул в созерцании чудесного огонька, который, то дробясь на радугу, то опять сливаясь в одно солнышко, вырастал и приближался всё больше и больше.

Чем внимательнее Нурредин смотрел внутрь опала, тем он казался ему глубже и бездоннее. Мало-помалу золотой обручик перстня превратился в круглое окошечко, сквозь которое сияло другое небо, светлее нашего, и другое солнце, такое же яркое, лучезарное, но как будто ещё веселее и не так ослепительно.

Это новое небо становилось беспрестанно блестящее и разнообразнее; это солнце всё больше и больше; вот оно выросло огромнее надземного,

ещё ярче и ещё торжественнее, и хотя ослепительно, но всё ненаглядно и привлекательно; быстро катилось оно ближе и ближе; или, лучше сказать, Нурредин не знал, солнце ли приближается к нему или он летит к солнцу.

Вот новое явление поражает его напряжённые чувства: из-под катящегося солнца исходит глухой и неявственный гул, как бы рёв далёкого ветра или как стон умолкающих колоколов; и чем ближе солнце, тем звонче гул. Вот уж слух Нурредина может ясно распознать в нём различные звуки: будто тысячи арф разнострунными звонами сливаются в одну согласную песнь; будто тысячи разных голосов различно строятся в одно созвучие, то умирая, то рождаясь, и все повинуясь одной, разнообразно переливчатой, необъятной гармонии.

Эти звуки, эти песни проникли до глубины души Нурредина. В первый раз испытал он, что такое восторг. Как будто сердце его, дотоле немое, поражённое голосом звезды своей, вдруг обрело и слух и язык; так, как звонкий металл, в первый раз вынесенный на свет рукою искусства, при встрече с другим металлом потрясается до глубины своего состава и звенит ему звуком ответным. Жадно вслушиваясь в окружающую его музыку,

Нурредин не мог различить, что изнутри его сердца, что извне ему слышится.

Вот прикатившееся солнце заслонило собою весь круглый свод своего неба; всё горело сиянием; воздух стал жарок, и душен, и ослепителен; музыка превратилась в оглушительный гром; но вот — пламя исчезло, замолкли звуки, и немое солнце утратило лучи свои, хотя ещё не переставало расти и приближаться, светя холодным сиянием восходящего месяца. Но, беспрестанно бледнея, скоро и это сияние затмилось; солнце приняло вид земли, и вот — долетело… ударило… перевернулось… и — где земля? где перстень?.. Нурредин, сам не ведая как, очутился на новой планете.

Здесь всё было странно и невиданно: горы, насыпанные из гранёных бриллиантов; огромные утёсы из чистого серебра, украшенные самородными рельефами, изящными статуями, правильными колоннами, выросшими из золота и мрамора. Там ослепительные беседки из разноцветных кристаллов. Там роща, и прохладная тень её исполнена самого нежного, самого упоительного благоухания. Там бьёт фонтан вином кипучим и ярким. Там светлая река тихо плескается о зелёные берега свои; но в этом плескании,

в этом говоре волн есть что-то разумное, что-то понятное без слов, какой-то мудрёный рассказ о несбыточном, но бывалом, какая-то сказка волшебная и заманчивая. Вместо ветра здесь веяла музыка; вместо солнца здесь светил сам воздух. Вместо облаков летали прозрачные образы богов и людей; как будто снятые волшебным жезлом с картины какого-нибудь великого мастера, они, лёгкие, вздымались до неба и, плавая в стройных движениях, купались в воздухе.

Долго сирийский царь ходил в сладком раздумье по новому миру, и ни взор его, ни слух ни на минуту не отдыхали от беспрестанного упоения. Но посреди окружавших его прелестей невольно в душу его теснилась мысль другая; он со вздохом вспомнил о той музыке, которую, приближаясь, издавала звезда его; он полюбил эту музыку так, как будто она была не голос, а живое создание, существо с душою и с образом; тоска по ней мешалась в каждое его чувство, и услышать снова те чарующие звуки стало теперь его единственным, болезненным желанием.

Между тем в глубине зелёного леса открылся перед ним блестящий дворец, чудесно слитый из остановленного дыма. Дворец, казалось, струился, и волновался, и переливался и, несмотря на то,

стоял неподвижно и твёрдо в одном положении. Прозрачные колонны жемчужного цвета были увиты светлыми гирляндами из розовых облаков. Дымчатый портик возвышался стройно и радужно, красуясь грацией самых строгих пропорций; огромный свод казался круглым каскадом, который падал во все стороны светлою дугою, без реки и без брызгов: всё во дворце было живо, всё играло, и весь он казался летучим облаком, а между тем это облако сохраняло постоянно свои строгие формы. Крепко забилось сердце Нуррединово, когда он приблизился ко дворцу: предчувствие какого-то неиспытанного счастия занимало дух и томило грудь его. Вдруг растворились лёгкие двери, и в одежде из солнечных лучей, в венце из ярких звёзд, опоясанная радугой, вышла девица.

«Это она!» — воскликнул сирийский царь, Нурредин узнал её. Правда, под туманным покрывалом не видно было её лица; но по гибкому её стану, по её грациозным движениям и стройной поступи разве слепой один мог бы не узнать на его месте, что эта девица была та самая Музыка Солнца, которая так пленила его сердце.

Едва увидела девица сирийского царя, как в ту же минуту обратилась к нему спиною и, как бы испугавшись, пустилась бежать вдоль широкой

аллеи, усыпанной мелким серебряным песком. Царь за нею.

Чем ближе он к ней, тем шибче бежит девица и тем более царь ускоряет свой бег.

Грация во всех её движениях; волосы развеялись по плечам; быстрые ножки едва оставляют на серебряном песку свои узкие, стройные следы; но вот уже царь недалеко от неё; вот он настиг её, хочет обхватить её стройный стан, — она мимо, быстро, быстро… как будто Грация обратилась в Молнию; легко, красиво… как будто Молния обернулась в Грацию.

Девица исчезла; царь остался один, усталый, недовольный. Напрасно искал он её во дворце и по садам, нигде не было и следов девицы. Вдруг из-за куста ему повеяло музыкой, как будто вопрос: зачем пришёл ты сюда?

«Клянусь красотою здешнего мира, — отвечал Нурредин, — что я не с тем пришёл сюда, чтобы вредить тебе, и не сделаю ничего противного твоей воле, прекрасная девица, если только выйдешь ко мне и хотя на минуту откроешь лицо своё».

«Как пришёл ты сюда?» — повеяла ему та же музыка. Нурредин рассказал, каким образом достался ему перстень, и едва он кончил, как вдруг из тенистой беседки показалась ему та же

девица; и в то же самое мгновение царь очнулся в своей палатке.

Перстень был на его руке, и перед ним стоял хан Арбаз, храбрейший из его полководцев и умнейший из его советников.

«Государь! — сказал он Нурредину, — покуда ты спал, неприятель ворвался в наш стан. Никто из придворных не смел разбудить тебя; но я дерзнул прервать твой сон, боясь, чтобы без твоего присутствия победа не была сомнительна».

Суровый, разгневанный взор был ответом министру; нехотя опоясал Нурредин свой меч и тихими шагами вышел из ставки.

Битва кончилась. Китайские войска снова заперлись в стенах своих; Нурредин, возвратясь в свою палатку, снова загляделся на перстень. Опять звезда, опять солнце и музыка, и новый мир, и облачный дворец, и девица. Теперь она была с ним смелее, хотя не хотела ещё поднять своего покрывала.

Китайцы сделали новую вылазку. Сирийцы опять отразили их; но Нурредин потерял лучшую часть своего войска, которому в битве уже не много помогала его рука, бывало, неодолимая. Часто в пылу сражений сирийский царь задумывался о своём перстне, и посреди боя оставался

равнодушным его зрителем, и, бывши зрителем, казалось, видел что-то другое.

Так прошло несколько дней. Наконец царю сирийскому наскучила тревога боевого стана. Каждая минута, проведённая не внутри опала, была ему невыносима. Он забыл и славу, и клятву: первый послал Оригеллу предложение о мире и, заключив его на постыдных условиях, возвратился в Дамаск; поручил визирям правление царства, заперся в своём чертоге и под смертною казнию запретил своим царедворцам входить в царские покои без особенного повеления.

Почти всё время проводил Нурредин на звезде, близ девицы; но до сих пор ещё не видал он её лица. Однажды, тронутая его просьбами, она согласилась поднять покрывало; и той красоты, которая явилась тогда перед его взорами, невозможно выговорить словами, даже магическими, и того чувства, которое овладело им при её взгляде, невозможно вообразить даже и во сне. Если в эту минуту сирийский царь не лишился жизни, то, конечно, не оттого, чтобы люди не умирали от восторга, а, вероятно, потому только, что на той звезде не было смерти.

Между тем министры Нуррединовы думали более о своей выгоде, чем о пользе государства.

Сирия изнемогала от неустройств и беззаконий. Слуги слуг министровых утесняли граждан; почёты сыпались на богатых; бедные страдали; народом овладело уныние, а соседи смеялись.

Жизнь Нурредина на звезде была серединою между сновидением и действительностию. Ясность мыслей, святость и свежесть впечатлений могли принадлежать только жизни наяву; но волшебство предметов, но непрерывное упоение чувств, но музыкальность сердечных движений и мечтательность всего окружающего уподобляли жизнь его более сновидению, чем действительности. Девица Музыка казалась также слиянием двух миров. Душевное выражение её лица, беспрестанно изменяясь, было всегда согласно с мыслями Нурредина, так что красота её представлялась ему столько же зеркалом его сердца, сколько отражением её души. Голос её был между звуком и чувством: слушая его, Нурредин не знал, точно ли слышит он музыку или всё тихо и он только воображает её? В каждом слове её находил он что-то новое для души, а всё вместе было ему каким-то счастливым воспоминанием чего-то дожизненного. Разговор её всегда шёл туда, куда шли его мысли, так как выражение лица её следовало всегда за его чувствами; а между

тем всё, что она говорила, беспрестанно возвышало его прежние понятия, так как красота её беспрестанно удивляла его воображение. Часто, взявшись рука с рукою, они молча ходили по волшебному миру; или, сидя у волшебной реки, слушали её волшебные сказки; или смотрели на синее сияние неба; или, отдыхая на волнистых диванах облачного дворца, старались собрать в определённые слова всё рассеянное в их жизни; или, разостлав своё покрывало, девица обращала его в ковёр-самолёт, и они вместе улетали на воздух, и купались, и плавали среди красивых облаков; или, поднявшись высоко, они отдавались на волю случайного ветра и неслись быстро по беспредельному пространству и уносились, куда взор не дойдёт, куда мысль не достигнет, и летели, и летели так, что дух замирал…

Но положение Сирии беспрестанно становилось хуже, и тем опаснее, что в целой Азии совершились тогда страшные перевороты. Древние грады рушились; огромные царства колебались и падали; новые возникали насильственно; народы двигались с мест своих; неизвестные племена набегали неизвестно откуда; пределов не стало между государствами; никто не верил завтрашнему дню; каждый дрожал за текущую

минуту; один Нурредин не заботился ни о чём. Внутренние неустройства со всех сторон открыли Сирию внешним врагам; одна область отпадала за другою, и уже самые близорукие умы начинали предсказывать ей близкую гибель.

«Девица! — сказал однажды Нурредин девице Музыке. — Поцелуй меня!»

«Я не могу, — отвечала девица, — если я поцелую тебя, то лишусь всего отличия моей прелести и красотой своей сравняюсь с обыкновенными красавицами подлунной земли. Есть, однако, средство исполнить твоё желание, не теряя красоты моей… оно зависит от тебя… послушай: если ты любишь меня, отдай мне перстень свой; блестя на моей руке, он уничтожит вредное действие твоего поцелуя».

«Но как же без перстня приду я к тебе?»

«Как ты теперь видишь мою землю в этом перстне, так я тогда увижу в нём твою землю; как ты теперь приходишь ко мне, так и я приду к тебе», — сказала девица Музыка, и, одной рукой снимая перстень с руки Нурредина, она обнимала его другою. И в то мгновение, как уста её коснулись уст Нуррединовых, а перстень с его руки перешёл на руку девицы, в то мгновение, продолжавшееся, может быть, не более одной

минуты, новый мир вдруг исчез вместе с девицей, и Нурредин, ещё усталый от восторга, очутился один на мягком диване своего дворца.

Долго ждал он обещанного прихода девицы Музыки; но в этот день она не пришла; ни через два, ни через месяц, ни через год. Напрасно рассылал он гонцов во все концы света искать араратского отшельника; уже последний из них возвратился без успеха. Напрасно истощал он свои сокровища, скупая отовсюду круглые опалы; ни в одном из них не нашёл он звезды своей.

«Для каждого человека есть одна звезда, — говорили ему волхвы, — ты, государь, потерял свою, другой уже не найти тебе!»

Тоска овладела царём сирийским, и он, конечно, не задумался бы утопить её в студёных волнах своего златопесчаного Бардинеза, если бы только вместе с жизнию не боялся лишиться и последней тени прежних наслаждений — грустного, тёмного наслаждения: *вспоминать* про своё солнышко!

Между тем тот же Оригелл, который недавно трепетал меча Нуррединова, теперь сам осаждал его столицу. Скоро стены дамасские были разрушены, китайское войско вломилось в царский дворец, и вся Сирия вместе с царём своим подпа-

ла под власть китайского императора.

«Вот пример коловратности счастия, — говорил Оригелл, указывая полководцам своим на окованного Нурредина, — теперь он раб и вместе с свободою утратил весь блеск прежнего имени. Ты заслужил свою гибель, — продолжал он, обращаясь к царю сирийскому, — однако я не могу отказать тебе в сожалении, видя в несчастии твоём могущество судьбы ещё более, чем собственную вину твою. Я хочу, сколько можно, вознаградить тебя за потерю твоего трона. Скажи мне: чего хочешь ты от меня? О чём из утраченного жалеешь ты более? Который из дворцов желаешь ты сохранить? Кого из рабов оставить? Избери лучшие из сокровищ моих, и, если хочешь, я позволю тебе быть моим наместником на прежнем твоём престоле!»

«Благодарю тебя, государь! — отвечал Нурредин, — но из всего, что ты отнял у меня, я не жалею ни о чём. Когда дорожил я властию, богатством и славою, умел я быть и сильным, и богатым. Я лишился сих благ только тогда, когда перестал желать их, и недостойным попечения моего почитаю я то, чему завидуют люди. Суета все блага земли! Суета всё, что обольщает желания человека, и чем пленительнее, тем менее

истинно, тем более суета! Обман всё прекрасное, и чем прекраснее, тем обманчивее; ибо лучшее, что есть в мире, это — мечта».

Михаил Юрьевич Лермонтов (1814–1841)

Ашик-кериб
Турецкая сказка

Давно тому назад, в городе Тифлизе, жил один богатый турок; много Аллах дал ему золота, но дороже золота была ему единственная дочь Магуль-Мегери: хороши звёзды на небеси, но за звёздами живут ангелы, и они ещё лучше, так и Магуль-Мегери была лучше всех девушек Тифлиза. Был также в Тифлизе бедный Ашик-Кериб; Пророк не дал ему ничего, кроме высокого сердца — и дара песен; играя на саазе (балалайка турецкая) и прославляя древних витязей Туркестана, ходил он по свадьбам увеселять богатых и счастливых; на одной свадьбе он увидал Магуль-Мегери, и они полюбили друг друга. Мало было надежды у бедного Ашик-Кериба получить её руку — и он стал грустен, как зимнее небо.

Вот раз он лежал в саду под виноградником и наконец заснул; в это время шла мимо Магуль-Мегери с своими подругами; и одна из них, увидав спящего ашика (балалаечника), отстала и подошла к нему: «Что ты спишь под виноградником, — запела она, — вставай, безумный, твоя

газель идёт мимо»; он проснулся — девушка порхнула прочь, как птичка; Магуль-Мегери слышала её песню и стала её бранить. «Если б ты знала, — отвечала та, — кому я пела эту песню, ты бы меня поблагодарила: это твой Ашик-Кериб». — «Веди меня к нему», — сказала Магуль-Мегери; — и они пошли. Увидав его печальное лицо, Магуль-Мегери стала его спрашивать и утешать. «Как мне не грустить, — отвечал Ашик-Кериб, — я тебя люблю, и ты никогда не будешь моею». — «Проси мою руку у отца моего, — говорила она, — и отец мой сыграет нашу свадьбу на свои деньги и наградит меня столько, что нам вдвоём достанет». — «Хорошо, — отвечал он, — положим, Аян-Ага ничего не пожалеет для своей дочери; но кто знает, что после ты не будешь меня упрекать в том, что я ничего не имел и тебе всем обязан; — нет, милая Магуль-Мегери; я положил зарок на свою душу; обещаюсь 7 лет странствовать по свету и нажить себе богатство либо погибнуть в дальних пустынях; если ты согласна на это, то по истечении срока будешь моею». Она согласилась, но прибавила, что если в назначенный день он не вернётся, то она сделается женою Куршуд-бека, который давно уж за неё сватается.

Пришёл Ашик-Кериб к своей матери; взял на

дорогу её благословение, поцеловал маленькую сестру, повесил через плечо сумку, опёрся на посох странничий и вышел из города Тифлиза. И вот догоняет его всадник, — он смотрит — это Куршуд-бек. «Добрый путь, — кричал ему бек, — куда бы ты ни шёл, странник, я твой товарищ»; не рад был Ашик своему товарищу — но нечего делать; долго они шли вместе, наконец завидели перед собою реку. Ни моста, ни броду. «Плыви вперёд, — сказал Куршуд-бек, — я за тобою последую». Ашик сбросил верхнее платье и поплыл; переправившись, глядь назад — о горе! о всемогущий Аллах! Куршуд-бек, взяв его одежды, ускакал обратно в Тифлиз, только пыль вилась за ним змеёю по гладкому полю. Прискакав в Тифлиз, несёт бек платье Ашик-Кериба к его старой матери: «Твой сын утонул в глубокой реке, — говорит он, — вот его одежда»; в невыразимой тоске упала мать на одежды любимого сына и стала обливать их жаркими слезами; потом взяла их и понесла к наречённой невестке своей, Магуль-Мегери. «Мой сын утонул, — сказала она ей, — Куршуд-бек привёз его одежды; ты свободна». Магуль-Мегери улыбнулась и отвечала: «Не верь, это всё выдумки Куршуд-бека; прежде истечения 7 лет никто не будет моим мужем»; она взяла со стены свою

сааз и спокойно начала петь любимую песню бедного Ашик-Кериба.

Между тем странник пришёл бос и наг в одну деревню; добрые люди одели его и накормили; он за то пел им чудные песни; таким образом переходил он из деревни в деревню, из города в город; и слава его разнеслась повсюду. Прибыл он наконец в Халаф; по обыкновению взошёл в кофейный дом, спросил сааз и стал петь. В это время жил в Халафе паша, большой охотник до песельников: многих к нему приводили — ни один ему не понравился; его чауши измучились, бегая по городу; вдруг, проходя мимо кофейного дома, слышат удивительный голос; они туда. «Иди с нами к великому паше, — закричали они, — или ты отвечаешь нам головою». — «Я человек вольный, странник из города Тифлиза, — говорит Ашик-Кериб; — хочу пойду, хочу нет; пою, когда придётся, и ваш паша мне не начальник»; однако, несмотря на то, его схватили и привели к паше. «Пой», — сказал паша, и он запел. И в этой песне он славил свою дорогую Магуль-Мегери; и эта песня так понравилась гордому паше, что он оставил у себя бедного Ашик-Кериба. Посыпалось к нему серебро и золото, заблистали на нём богатые одежды; счастливо и весело стал

жить Ашик-Кериб и сделался очень богат; забыл он свою Магуль-Мегери или нет, не знаю, только срок истекал, последний год скоро должен был кончиться, а он и не готовился к отъезду. Прекрасная Магуль-Мегери стала отчаиваться; в это время отправлялся один купец с караваном из Тифлиза с сорока верблюдами и 80 невольниками: призывает она купца к себе и даёт ему золотое блюдо. «Возьми ты это блюдо, — говорит она, — и в какой бы ты город ни приехал, выставь это блюдо в своей лавке и объяви везде, что тот, кто признается моему блюду хозяином и докажет это, получит его и вдобавок вес его золотом». Отправился купец, везде исполнял поручение Магуль-Мегери, но никто не признавался хозяином золотому блюду. Уж он продал почти все свои товары и приехал с остальными в Халаф: объявил он везде поручение Магуль-Мегери. Услыхав это, Ашик-Кериб прибегает в караван-сарай и видит золотое блюдо в лавке тифлизского купца. «Это моё», — сказал он, схватив его рукою. «Точно, твоё, — сказал купец, — я узнал тебя, Ашик-Кериб; ступай же скорее в Тифлиз, твоя Магуль-Мегери велела тебе сказать, что срок истекает, и если ты не будешь в назначенный день, то она выйдет за другого». В отчаянии Ашик-Кериб схватил себя

за голову: оставалось только три дня до рокового часа. Однако он сел на коня, взял с собою суму с золотыми монетами — и поскакал, не жалея коня; наконец измученный бегун упал бездыханный на Арзинган-горе, что между Арзиньяном и Арзерумом. Что ему было делать: от Арзиньяна до Тифлиза два месяца езды, а оставалось только два дня. «Аллах всемогущий, — воскликнул он, — если ты уж мне не помогаешь, то мне нечего на земле делать»; и хочет он броситься с высокого утёса; вдруг видит внизу человека на белом коне и слышит громкий голос: «Оглан, что ты хочешь делать?» — «Хочу умереть», — отвечал Ашик. «Слезай же сюда, если так, я тебя убью». Ашик спустился кое-как с утёса. «Ступай за мною», — сказал грозно всадник. «Как я могу за тобою следовать, — отвечал Ашик, — твой конь летит, как ветер, а я отягощён сумою». — «Правда, повесь же суму свою на седло моё и следуй». Отстал Ашик-Кериб, как ни старался бежать. «Что ж ты отстаёшь?» — спросил всадник. «Как же я могу следовать за тобою, твой конь быстрее мысли, а я уж измучен». — «Правда, садись же сзади на коня моего и говори всю правду, куда тебе нужно ехать». — «Хоть бы в Арзерум поспеть нонче», — отвечал Ашик. «Закрой же глаза»; он закрыл.

«Теперь открой»; смотрит Ашик: перед ним белеют стены и блещут минареты Арзрума. «Виноват, Ага, — сказал Ашик, — я ошибся, я хотел сказать, что мне надо в Карс». — «То-то же, — отвечал всадник, — я предупредил тебя, чтоб ты говорил мне сущую правду; закрой же опять глаза, — теперь открой». Ашик себе не верит, что это Карс. Он упал на колени и сказал: «Виноват, Ага, трижды виноват твой слуга Ашик-Кериб: но ты сам знаешь, что если человек решился лгать с утра, то должен лгать до конца дня; мне по-настоящему надо в Тифлиз». — «Экой ты неверный, — сказал сердито всадник, — но нечего делать, прощаю тебе: закрой же глаза. Теперь открой», — прибавил он по прошествии минуты. Ашик вскрикнул от радости: они были у ворот Тифлиза. Принеся искреннюю свою благодарность и взяв свою суму с седла, Ашик-Кериб сказал всаднику: «Ага, конечно, благодеяние твоё велико, но сделай ещё больше; если я теперь буду рассказывать, что в один день поспел из Арзиньяна в Тифлиз, мне никто не поверит; дай мне какое-нибудь доказательство». — «Наклонись, — сказал тот, улыбнувшись, — и возьми из-под копыта коня комок земли и положи себе за пазуху; и тогда, если не станут верить истине слов твоих, то

вели к себе привести слепую, которая семь лет уж в этом положении, помажь ей глаза — и она увидит». Ашик взял кусок земли из-под копыта белого коня, но только он поднял голову, всадник и конь исчезли; тогда он убедился в душе, что его покровитель был не кто иной, как Хадерилиаз (св. Георгий).

Только поздно вечером Ашик-Кериб отыскал дом свой: стучит он в двери дрожащею рукою, говоря: «Ана, ана (мать), отвори: я божий гость, я холоден и голоден; прошу ради странствующего твоего сына, впусти меня». Слабый голос старухи отвечал ему: «Для ночлега путников есть дома богатых и сильных: есть теперь в городе свадьбы — ступай туда; там можешь провести ночь в удовольствии». — «Ана, — отвечал он, — я здесь никого знакомых не имею и потому повторяю мою просьбу: ради странствующего твоего сына впусти меня». Тогда сестра его говорит матери: «Мать, я встану и отворю ему двери». — «Негодная, — отвечала старуха, — ты рада принимать молодых людей и угощать их, потому что вот уже семь лет, как я от слёз потеряла зрение». Но дочь, не внимая её упрёкам, встала, отперла двери и впустила Ашик-Кериба: сказав обычное приветствие, он сел и с тайным волнением стал

осматриваться: и видит он — на стене висит в пыльном чехле его сладкозвучная сааз. И стал он спрашивать у матери: «Что висит у тебя на стене?» — «Любопытный ты гость, — отвечала она, — будет и того, что тебе дадут кусок хлеба и завтра отпустят тебя с богом». — «Я уж сказал тебе, — возразил он, — что ты моя родная мать, а это сестра моя, и потому прошу объяснить мне, что это висит на стене?» — «Это сааз, сааз», — отвечала старуха сердито, не веря ему. «А что значит сааз?» — «Сааз то значит: что на ней играют и поют песни». И просит Ашик-Кериб, чтоб она позволила сестре снять сааз и показать ему. «Нельзя, — отвечала старуха, — это сааз моего несчастного сына, вот уже семь лет она висит на стене, и ничья живая рука до него не дотрогивалась». Но сестра его встала, сняла со стены сааз и отдала ему, тогда он поднял глаза к небу и сотворил такую молитву: «О! Всемогущий Аллах! Если я должен достигнуть до желаемой цели, то моя семиструнная сааз будет так же стройна, как в тот день, когда я в последний раз играл на ней». И он ударил по медным струнам, и струны согласно заговорили; и он начал петь: «Я бедный Кериб (нищий) — и слова мои бедны; но великий Хадерилиаз помог мне спуститься с крутого утёса,

хотя я беден и бедны слова мои. Узнай меня, мать, своего странника». После этого мать его зарыдала и спрашивает его: «Как тебя зовут?» — *«Рашид»* (храбрый), — отвечал он. «Раз говори, другой раз слушай, Рашид, — сказал она, — своими речами ты изрезал сердце моё в куски. Нынешнюю ночь я во сне видела, что на голове моей волосы побелели, а вот уж семь лет я ослепла от слёз: скажи мне ты, который имеешь его голос, когда мой сын придёт?» И дважды со слезами она повторила ему просьбу. Напрасно он называл себя её сыном, но она не верила, и спустя несколько времени просит он: «Позволь мне, матушка, взять сааз и идти, я слышал, здесь близко есть свадьба: сестра меня проводит; я буду петь и играть, и всё, что получу, принесу сюда и разделю с вами». — «Не позволю, — отвечала старуха, — с тех пор, как нет моего сына, его сааз не выходила из дому». Но он стал клясться, что не повредит ни одной струны, «а если хоть одна струна порвётся, — продолжал Ашик, — то отвечаю моим имуществом». Старуха ощупала его сумы и, узнав, что они наполнены монетами, отпустила его; проводив его до богатого дома, где шумел свадебный пир, сестра осталась у дверей слушать, что будет.

В этом доме жила Магуль-Мегери, и в эту ночь

она должна была сделаться женою Куршуд-бека. Куршуд-бек пировал с родными и друзьями, а Магуль-Мегери, сидя за богатою чапрой (занавес) с своими подругами, держала в одной руке чашу с ядом, а в другой острый кинжал: она поклялась умереть прежде, чем опустит голову на ложе Куршуд-бека. И слышит она из-за чапры, что пришёл незнакомец, который говорил: «Селям алейкюм: вы здесь веселитесь и пируете, так позвольте мне, бедному страннику, сесть с вами, и за то я спою вам песню». — «Почему же нет, — сказал Куршуд-бек, — сюда должны быть впускаемы песельники и плясуны, потому что здесь свадьба: спой же что-нибудь, Ашик (певец), и я отпущу тебя с полной горстью золота».

Тогда Куршуд-бек спросил его: «А как тебя зовут, путник?» — «Шинды-Гёрурсез (скоро узнаете)». — «Что это за имя, — воскликнул тот со смехом. — Я в первый раз такое слышу!» — «Когда мать моя была мною беременна и мучилась родами, то многие соседи приходили к дверям спрашивать, сына или дочь бог ей дал, им отвечали: шинды гёрурсез (скоро узнаете). И вот поэтому, когда я родился — мне дали это имя». После этого он взял сааз и начал петь.

— В городе Халафе я пил мисирское вино, но бог

мне дал крылья, и я прилетел сюда в день.

Брат Куршуд-бека, человек малоумный, выхватил кинжал, воскликнув: «Ты лжёшь; как можно из Халафа приехать сюда в день?»

— За что ж ты меня хочешь убить, — сказал Ашик, — певцов обыкновенно со всех четырёх сторон собирают в одно место; и я с вас ничего не беру, верьте мне или не верьте.

— Пускай продолжает, — сказал жених, и Ашик-Кериб запел снова:

— Утренний намаз творил я в Арзиньянской долине, полуденный намаз в городе Арзруме; пред захождением солнца творил намаз в городе Карсе, а вечерний намаз в Тифлизе. Аллах дал мне крылья, и я прилетел сюда; дай бог, чтоб я стал жертвою белого коня, он скакал быстро, как плясун по канату, с горы в ущелья, из ущелья на гору: Маулям (создатель) дал Ашику крылья, и он прилетел на свадьбу Магуль-Мегери.

Тогда Магуль-Мегери, узнав его голос, бросила яд в одну сторону, а кинжал в другую: «Так-то ты сдержала свою клятву, — сказали её подруги, — стало быть, сегодня ночью ты будешь женою Куршуд-бека». — «Вы не узнали, а я узнала милый мне голос», — отвечала Магуль-Мегери; и, взяв ножницы, она прорезала чапру. Когда же

посмотрела и точно узнала своего Ашик-Кериба, то вскрикнула, бросилась к нему на шею, и оба упали без чувств. Брат Куршуд-бека бросился на них с кинжалом, намереваясь заколоть обоих, но Куршуд-бек остановил его, примолвив: «Успокойся и знай: что написано у человека на лбу при его рождении, того он не минует».

Придя в чувство, Магуль-Мегери покраснела от стыда, закрыла лицо рукою и спряталась за чапру.

— Теперь точно видно, что ты Ашик-Кериб, — сказал жених, — но поведай, как же ты мог в такое короткое время проехать такое великое пространство?

— В доказательство истины, — отвечал Ашик, — сабля моя перерубит камень, если же я лгу, то да будет шея моя тоньше волоска; но лучше всего приведите мне слепую, которая бы 7 лет уж не видала свету божьего, и я возвращу ей зрение.

Сестра Ашик-Кериба, стоявшая у двери и услышав такую речь, побежала к матери.

— Матушка! — закричала она, — это точно брат и точно твой сын Ашик-Кериб».

И взяв её под руку, привела старуху на пир свадебный. Тогда Ашик взял комок земли из-за пазухи, развёл его водою и намазал матери глаза,

промолвя: «Знайте все люди, как могущ и велик Хадерилиаз», — и мать его прозрела. После этого никто не смел сомневаться в истине слов его, и Куршуд-бек уступил ему безмолвно прекрасную Магуль-Мегери.

Тогда в радости Ашик-Кериб сказал ему: «Послушай, Куршуд-бек, я тебя утешу: сестра моя не хуже твоей прежней невесты, я богат: у неё будет не менее серебра и золота; итак, возьми её за себя — и будьте так же счастливы, как я с моей дорогою Магуль-Мегери».

Иван Сергеевич Тургенев (1818–1883)

Капля жизни

У одного бедного мальчика заболели отец и мать; мальчик не знал, чем им помочь, и сокрушался.

Однажды кто-то и говорит ему: «Есть одна пещера, и в этой пещере ежегодно в известный день на своде появляется капля, капля чудодейственной живой воды, и кто эту каплю проглотит — тот может исцелять не только недуги телесные, но и душевные немощи».

Скоро ли, долго ли, неизвестно, — только мальчик отыскал эту пещеру и проник в неё. Она была каменная, с каменным растрескавшимся сводом.

Оглядевшись, он пришёл в ужас — вокруг себя увидел он множество гадов самого разнообразного вида, с злыми глазами, страшных и отвратительных. Но делать было нечего, он стал ждать. Долго ждал он. Наконец, видит: на своде появилось что-то мокрое, что-то вроде блестящей слизи, и вот понемногу стала навёртываться капля, чистая, как слеза, и прозрачная. Казалось, вот-вот она набухнет и упадёт. Но едва только появилась капля, как уже все гады потянулись к ней и раскрыли свои пасти. Но капля, готовая

капнуть, опять ушла.

Нечего делать, надо было опять ждать, ждать и ждать.

И вдруг снова увидел он, что мимо него, чуть не касаясь щёк его, потянулись кверху змеи и гады разинули пасть свою. На мальчика нашёл страх: «Вот, вот, — он думал, — все эти твари бросятся на меня, вонзят в меня свои жала и задушат меня». Но он справился с своим ужасом, тоже потянулся кверху и — о, чудо! Капля живой воды капнула ему прямо в раскрытый рот. Гады зашипели, подняли свист, но тотчас же посторонились от него, как от счастливца, и только злые глаза их поглядели на него с завистью.

Мальчик недаром проглотил эту каплю — он стал знать всё, что только доступно человеческому пониманию, он проник в тайны человеческого организма и не только излечил своих родителей, — стал могуществен, богат, и слава о нём далеко прошла по свету.

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин
(1826–1889)

Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил

Жили да были два генерала, и так как оба были легкомысленны, то в скором времени, по щучьему велению, по моему хотению, очутились на необитаемом острове.

Служили генералы всю жизнь в какой-то регистратуре, там родились, воспитались и состарились, следовательно, ничего не понимали. Даже слов никаких не знали, кроме: «Примите уверение в совершенном моём почтении и преданности».

Упразднили регистратуру за ненадобностью и выпустили генералов на волю. Оставшись за штатом, поселились они в Петербурге, в Подьяческой улице, на разных квартирах; имели каждый свою кухарку и получали пенсию. Только вдруг очутились на необитаемом острове, проснулись и видят: оба под одним одеялом лежат. Разумеется, сначала ничего не поняли и стали разговаривать, как будто ничего с ними и не случилось.

— Странный, ваше превосходительство, мне нынче сон снился, — сказал один генерал. — Ви-

жу, будто живу я на необитаемом острове…

Сказал это, да вдруг как вскочит! Вскочил и другой генерал.

— Господи! Да что ж это такое! Где мы! — вскрикнули оба не своим голосом.

И стали друг друга ощупывать, точно ли не во сне, а наяву с ними случилась такая оказия. Однако, как ни старались уверить себя, что всё это не больше, как сновидение, пришлось убедиться в печальной действительности.

Перед ними с одной стороны расстилалось море, с другой стороны лежал небольшой клочок земли, за которым стлалось всё то же безграничное море. Заплакали генералы в первый раз после того, как закрыли регистратуру.

Стали они друг друга рассматривать и увидели, что они в ночных рубашках, а на шеях у них висит по ордену.

— Теперь бы кофейку испить хорошо! — молвил один генерал, но вспомнил, какая с ним неслыханная штука случилась, и во второй раз заплакал.

— Что же мы будем, однако, делать? — продолжал он сквозь слёзы. — Ежели теперича доклад написать — какая польза из этого выйдет?

— Вот что, — отвечал другой генерал: — поди-

те вы, ваше превосходительство, на восток, а я пойду на запад, а к вечеру опять на этом месте сойдёмся; может быть, что-нибудь и найдём.

Стали искать, где восток и где запад. Вспомнили, как начальник однажды говорил: если хочешь сыскать восток, то встань глазами на север и в правой руке получишь искомое. Начали искать севера, становились так и сяк, перепробовали все страны света, но так как всю жизнь служили в регистратуре, то ничего не нашли.

— Вот что, ваше превосходительство: вы пойдите направо, а я налево, этак-то лучше будет! — сказал один генерал, который, кроме регистратуры, служил ещё в школе военных кантонистов учителем каллиграфии и, следовательно, был поумнее.

Сказано — сделано. Пошёл один генерал направо и видит — растут деревья, а на деревьях всякие плоды. Хочет генерал достать хоть одно яблоко, да все так высоко висят, что надобно лезть. Попробовал полезть — ничего не вышло, только рубашку изорвал. Пришёл генерал к ручью, видит: рыба там, словно в садке на Фонтанке, так и кишит, и кишит.

«Вот кабы этакой-то рыбки да на Подьяческую!» — подумал генерал и даже в лице изме-

нился от аппетита.

Зашёл генерал в лес — а там рябчики свищут, тетерева токуют, зайцы бегают.

— Господи! еды-то! еды-то! — сказал генерал, почувствовав, что его уже начинает тошнить.

Делать нечего, пришлось возвращаться на условленное место с пустыми руками. Приходит, а другой генерал уж дожидается.

— Ну что, ваше превосходительство, промыслили что-нибудь?

— Да вот нашёл старый номер «Московских ведомостей», и больше ничего!

Легли опять спать генералы, да не спится им натощак. То беспокоит их мысль, кто за них будет пенсию получать, то припоминаются виденные днём плоды, рыбы, рябчики, тетерева, зайцы.

— Кто бы мог думать, ваше превосходительство, что человеческая пища, в первоначальном виде, летает, плавает и на деревьях растёт? — сказал один генерал.

— Да, — отвечал другой генерал, — признаться, и я до сих пор думал, что булки в том самом виде родятся, как их утром к кофею подают.

— Стало быть, если, например, кто хочет куропатку съесть, то должен сначала её изловить, убить, ощипать, изжарить… Только как всё это

сделать?

— Как всё это сделать? — словно эхо, повторил другой генерал.

Замолчали и стали стараться заснуть; но голод решительно отгонял сон. Рябчики, индейки, поросята так и мелькали перед глазами, сочные, слегка подрумяненные, с огурцами, пикулями и другим салатом.

— Теперь я бы, кажется, свой собственный сапог съел! — сказал один генерал.

— Хороши тоже перчатки бывают, когда долго ношены! — вздохнул другой генерал.

Вдруг оба генерала взглянули друг на друга: в глазах их светился зловещий огонь, зубы стучали, из груди вылетало глухое рычание. Они начали медленно подползать друг к другу и в одно мгновение ока остервенились. Полетели клочья, раздался визг и оханье; генерал, который был учителем каллиграфии, откусил у своего товарища орден и немедленно проглотил. Но вид текущей крови как будто образумил их.

— С нами крестная сила! — сказали они оба разом. — Ведь этак мы друг друга съедим!

— И как мы попали сюда? Кто тот злодей, который над нами такую штуку сыграл!

— Надо, ваше превосходительство, каким-

нибудь разговором развлечься, а то у нас тут убийство будет! — проговорил один генерал.

— Начинайте! — отвечал другой генерал.

— Как, например, думаете вы, отчего солнце прежде восходит, а потом заходит, а не наоборот?

— Странный вы человек, ваше превосходительство; но ведь и вы прежде встаёте, идёте в департамент, там пишете, а потом ложитесь спать?

— Но отчего же не допустить такую перестановку: сперва ложусь спать, вижу различные сновидения, а потом встаю?

— Гм… да… А я, признаться, как служил в департаменте, всегда так думал: вот теперь утро, а потом будет день, а потом подадут ужинать — и спать пора!

Но упоминовение об ужине обоих повергло в уныние и пресекло разговор в самом начале.

— Слышал я от одного доктора, что человек может долгое время своими собственными соками питаться, — начал опять один генерал.

— Как так?

— Да так-с. Собственные свои соки будто бы производят другие соки, эти, в свою очередь, ещё производят соки, и так далее, покуда, наконец,

соки совсем не прекратятся…

— Тогда что ж?

— Тогда надобно пищу какую-нибудь принять…

— Тьфу!

Одним словом, о чём ни начинали генералы разговор, он постоянно сводился на воспоминание об еде, и это ещё более раздражало аппетит. Положили: разговоры прекратить, и, вспомнив о найденном нумере «Московских ведомостей», жадно принялись читать его.

— «Вчера, — читал взволнованным голосом один генерал, — у почтенного начальника нашей древней столицы был парадный обед. Стол сервирован был на сто персон с роскошью изумительною. Дары всех стран назначили себе как бы рандеву на этом волшебном празднике. Тут была и «шекснинска стерлядь золотая», и питомец лесов кавказских, фазан, и, столь редкая в нашем севере в феврале месяце, земляника…»

— Тьфу ты, господи! Да неужто ж, ваше превосходительство, не можете найти другого предмета? — воскликнул в отчаянии другой генерал и, взяв у товарища газету, прочёл следующее:

— «Из Тулы пишут: вчерашнего числа, по случаю поимки в реке Упе осетра (происшествие,

которого не запомнят даже старожилы, тем более, что в осетре был опознан частный пристав Б.), был в здешнем клубе фестиваль. Виновника торжества внесли на громадном деревянном блюде, обложенного огурчиками и держащего в пасти кусок зелени. Доктор П., бывший в тот же день дежурным старшиною, заботливо наблюдал, дабы все гости получили по куску. Подливка была самая разнообразная и даже почти прихотливая…»

— Позвольте, ваше превосходительство, и вы, кажется, не слишком осторожны в выборе чтения! — прервал первый генерал и, взяв, в свою очередь, газету, прочёл:

— «Из Вятки пишут: один из здешних старожилов изобрёл следующий оригинальный способ приготовления ухи: взяв живого налима, предварительно его высечь; когда же, от огорчения, печень его увеличится…»

Генералы поникли головами. Всё, на что бы они ни обратили взоры, — всё свидетельствовало об еде. Собственные их мысли злоумышляли против них, ибо как ни старались отгонять представления о бифштексах, но представления эти пробивали себе путь насильственным образом.

И вдруг генерала, который был учителем каллиграфии, озарило вдохновение…

— А что, ваше превосходительство, — сказал он радостно, — если бы нам найти мужика?

— То есть как же… мужика?

— Ну да, простого мужика… какие обыкновенно бывают мужики! Он бы нам сейчас и булок бы подал, и рябчиков бы наловил, и рыбы!

— Гм… мужика… но где же его взять, этого мужика, когда его нет?

— Как нет мужика — мужик везде есть, стоит только поискать его! Наверное, он где-нибудь спрятался, от работы отлынивает!

Мысль эта до того ободрила генералов, что они вскочили как встрёпанные и пустились отыскивать мужика.

Долго они бродили по острову без всякого успеха, но, наконец, острый запах мякинного хлеба и кислой овчины навёл их на след. Под деревом, брюхом кверху и подложив под голову кулак, спал громаднейший мужичина и самым нахальным образом уклонялся от работы. Негодованию генералов предела не было.

— Спишь, лежебок! — накинулись они на него. — Небось и ухом не ведёшь, что тут два генерала вторые сутки с голода умирают! Сейчас марш работать!

Встал мужичина, видит, что генералы строгие.

Хотел было дать от них стречка, но они так и закоченели, вцепившись в него.

И зачал он перед ними действовать.

Полез спервa-наперво на дерево и нарвал генералам по десятку самых спелых яблоков, а себе взял одно, кислое. Потом покопался в земле — и добыл оттуда картофелю; потом взял два куска дерева, потёр их друг об дружку — и извлёк огонь. Потом из собственных волос сделал силок и поймал рябчика. Наконец развёл огонь и напёк столько разной провизии, что генералам пришло даже на мысль: не дать ли и тунеядцу частичку?

Смотрели генералы на эти мужицкие старания, и сердца у них весело играли. Они уже забыли, что вчера чуть не умерли с голоду, а думали: вот как оно хорошо быть генералами — нигде не пропадёшь!

— Довольны ли вы, господа генералы? — спрашивал между тем мужичина-лежебок.

— Довольны, любезный друг, видим твоё усердие! — отвечали генералы.

— Не позволите ли теперь отдохнуть?

— Отдохни, дружок, только свей прежде верёвочку.

Набрал сейчас мужичина дикой конопли, размочил в воде, поколотил, помял — и к вечеру

верёвка была готова. Этою верёвкою генералы привязали мужичину к дереву, чтоб не убёг, а сами легли спать.

Прошёл день, прошёл другой; мужичина до того изловчился, что стал даже в пригоршне суп варить. Сделались наши генералы весёлые, рыхлые, сытые, белые. Стали говорить, что вот они здесь на всём готовом живут, а в Петербурге между тем пенсии ихние всё накапливаются да накапливаются.

— А как вы думаете, ваше превосходительство, в самом ли деле было вавилонское столпотворение, или это только так, одно иносказание? — говорит, бывало, один генерал другому, позавтракавши.

— Думаю, ваше превосходительство, что было в самом деле, потому что иначе как же объяснить, что на свете существуют разные языки!

— Стало быть, и потоп был?

— И потоп был, потому что, в противном случае, как же было бы объяснить существование допотопных зверей? Тем более, что в «Московских ведомостях» повествуют…

— А не почитать ли нам «Московских ведомостей»?

Сыщут нумер, усядутся под тенью, прочтут от доски до доски, как ели в Москве, ели в Туле, ели

в Пензе, ели в Рязани — и ничего, не тошнит!

Долго ли, коротко ли, однако генералы соскучились. Чаще и чаще стали они припоминать об оставленных ими в Петербурге кухарках и втихомолку даже поплакивали.

— Что-то теперь делается в Подьяческой, ваше превосходительство? — спрашивал один генерал другого.

— И не говорите, ваше превосходительство! Всё сердце изныло! — отвечал другой генерал.

— Хорошо-то оно хорошо здесь — слова нет! А всё, знаете, как-то неловко барашку без ярочки! Да и мундира тоже жалко!

— Ещё как жалко-то! Особливо, как четвертого класса, так на одно шитьё посмотреть, голова закружится!

И начали они нудить мужика: представь да представь их в Подьяческую! И что ж! Оказалось, что мужик знает даже Подьяческую, что он там был, мёд-пиво пил, по усам текло, в рот не попало!

— А ведь мы с Подьяческой генералы! — обрадовались генералы.

— А я, коли видели: висит человек снаружи дома, в ящике на верёвке, и стену краской мажет или по крыше словно муха ходит — это он самый

я и есть! — отвечал мужик.

И начал мужик на бобах разводить, как бы ему своих генералов порадовать за то, что они его, тунеядца, жаловали и мужицким его трудом не гнушалися! И выстроил он корабль — не корабль, а такую посудину, чтоб можно было океан-море переплыть вплоть до самой Подьяческой.

— Ты смотри, однако, каналья, не утопи нас! — сказали генералы, увидев покачивавшуюся на волнах ладью.

— Будьте покойны, господа генералы, не впервой! — отвечал мужик и стал готовиться к отъезду.

Набрал мужик пуху лебяжьего мягкого и устлал им дно лодочки. Устлавши, уложил на дно генералов и, перекрестившись, поплыл. Сколько набрались страху генералы во время пути от бурь да ветров разных, сколько они ругали мужичину за его тунеядство — этого ни пером описать, ни в сказке сказать. А мужик всё гребёт да гребёт да кормит генералов селёдками.

Вот наконец и Нева-матушка, вот и Екатерининский славный канал, вот и Большая Подьяческая! Всплеснули кухарки руками, увидевши, какие у них генералы стали сытые, белые да весёлые! Напились генералы кофею, наелись сдобных булок

и надели мундиры. Поехали они в казначейство, и сколько тут денег загребли — того ни в сказке сказать, ни пером описать!

Однако и об мужике не забыли; выслали ему рюмку водки да пятак серебра: веселись, мужичина!

Карась-идеалист

Карась с ершом спорил. Карась говорил, что можно на свете одною правдою прожить, а ёрш утверждал, что нельзя без того обойтись, чтоб не слукавить. Что именно разумел ёрш под выражением «слукавить» — неизвестно, но только всякий раз, как он эти слова произносил, карась в негодовании восклицал:

— Но ведь это подлость!

На что ёрш возражал:

— Вот ужо увидишь!

Карась — рыба смирная и к идеализму склонная: недаром его монахи любят. Лежит она больше на самом дне речной заводи (где потише) или пруда, зарывшись в ил, и выбирает оттуда микроскопических ракушек для своего продовольствия. Ну, натурально, полежит-полежит, да что-нибудь и выдумает. Иногда даже и очень вольное. Но так как караси ни в цензуру своих мыслей не представляют, ни в участке не прописывают, то в политической неблагонадёжности их никто не подозревает. Если же иногда и видим, что от времени до времени на карасей устраивается облава, то отнюдь не за вольнодумство, а за

то, что они вкусны.

Ловят карасей по преимуществу сетью или неводом; но чтобы ловля была удачна, необходимо иметь сноровку. Опытные рыбаки выбирают для этого время сейчас вслед за дождём, когда вода бывает мутна, и затем, заводя невод, начинают хлопать по воде канатом, палками и вообще производить шум. Заслышав шум и думая, что он возвещает торжество вольных идей, карась снимается со дна и начинает справляться, нельзя ли и ему как-нибудь пристроиться к торжеству. Тут-то он и попадает во множестве в мотню, чтобы потом сделаться жертвою человеческого чревоугодия. Ибо, повторяю, караси представляют такое лакомое блюдо (особливо изжаренные в сметане), что предводители дворянства охотно потчуют ими даже губернаторов.

Что касается до ершей, то это рыба уже тронутая скептицизмом и притом колючая. Будучи сварена в ухе, она даёт бесподобный бульон.

Каким образом случилось, что карась с ершом сошлись, — не знаю; знаю только, что однажды, сошедшись, сейчас же заспорили. Поспорили раз, поспорили другой, а потом и во вкус вошли, свидания друг другу стали назначать. Сплывутся где-нибудь под водяным лопухом и начнут ум-

ные речи разговаривать. А плотва-белобрюшка резвится около них и ума-разума набирается.

Первым всегда задирал карась.

— Не верю, — говорил он, — чтобы борьба и свара были нормальным законом, под влиянием которого будто бы суждено развиваться всему живущему на земле. Верю в бескровное преуспеяние, верю в гармонию и глубоко убеждён, что счастие — не праздная фантазия мечтательных умов, но рано или поздно сделается общим достоянием!

— Дожидайся! — иронизировал ёрш.

Ёрш спорил отрывисто и неспокойно. Это рыба нервная, которая, по-видимому, помнит немало обид. Накипело у ней на сердце… ах, накипело! До ненависти покуда ещё не дошло, но веры и наивности уж и в помине нет. Вместо мирного жития она повсюду распрю видит; вместо прогресса — всеобщую одичалость. И утверждает, что тот, кто имеет претензию жить, должен всё это в расчёт принимать. Карася же считает «блаженненьким», хотя в то же время сознаёт, что с ним только и можно «душу отводить».

— И дождусь! — отзывался карась. — И не я один, все дождутся. Тьма, в которой мы плаваем, есть порождение горькой исторической случай-

ности; но так как ныне, благодаря новейшим исследованиям, можно эту случайность по косточкам разобрать, то и причины, её породившие, нельзя уже считать неустранимыми. Тьма — совершившийся факт, а свет — чаемое будущее. И будет свет, будет!

— Значит, и такое, по-твоему, время придёт, когда и щук не будет?

— Каких таких щук? — удивился карась, который был до того наивен, что когда при нём говорили: на то щука в море, чтоб карась не дремал, то он думал, что это что-нибудь вроде тех никс и русалок, которыми малых детей пугают, и, разумеется, ни крошечки не боялся.

— Ах, фофан ты фофан! Мировые задачи разрешать хочешь, а о щуках понятия не имеешь!

Ёрш презрительно пошевеливал плавательными перьями и уплывал восвояси; но спустя малое время собеседники опять где-нибудь в укромном месте сплывались (в воде-то скучно) и опять начинали диспутировать.

— В жизни первенствующую роль добро играет, — разглагольствовал карась, — зло — это так, по недоразумению допущено, а главная жизненная сила всё-таки в добре замыкается.

— Держи карман!

— Ах, ёрш, какие ты несообразные выражения употребляешь! «Держи карман»! Разве это ответ?

— Да тебе, по-настоящему, и совсем отвечать не следует. Глупый ты — вот тебе и сказ весь!

— Нет, ты послушай, что я тебе скажу. Что зло никогда не было зиждущей силой — об этом и история свидетельствует. Зло душило, давило, опустошало, предавало мечу и огню, а зиждущею силой являлось только добро. Оно устремлялось на помощь угнетённым, оно освобождало от цепей и оков, оно пробуждало в сердцах плодотворные чувства, оно давало ход парениям ума. Не будь этого воистину зиждущего фактора жизни, не было бы и истории. Потому что ведь, в сущности, что такое история? История — это повесть освобождения, это рассказ о торжестве добра и разума над злом и безумием.

— А ты, видно, доподлинно знаешь, что зло и безумие посрамлены? — подтрунивал ёрш.

— Не посрамлены ещё, но будут посрамлены — это я тебе верно говорю. И опять-таки сошлюсь на историю. Сравни, что некогда было, с тем, что есть, — и ты без труда согласишься, что не только внешние приёмы зла смягчились, но и самая сумма его приметно уменьшилась. Возьми хоть бы нашу рыбную породу. Прежде нас во всякое

время ловили, и преимущественно во время «хода», когда мы, как одурелые, сами прямо в сеть лезем, а нынче именно во время «хода»-то и признаётся вредным нас ловить. Прежде нас, можно сказать, самыми варварскими способами истребляли — в Урале, сказывают, во время багрения вода на многие вёрсты от рыбьей крови красная стояла, а нынче — шабаш. Неводы, да верши, да уды — больше чтобы ни-ни! Да и об этом ещё в комитетах рассуждают: какие неводы? по какому случаю? на какой предмет?

— А тебе, видно, не всё равно, каким способом в уху попасть?

— В какую такую уху? — удивлялся карась.

— Ах, прах тебя побери! Карасём зовётся, а об ухе не слыхал! Какое же ты после этого право со мной разговаривать имеешь? Ведь чтобы споры вести и мнения отстаивать, надо, по малой мере, с обстоятельствами дела наперёд познакомиться. О чём же ты разговариваешь, коли даже такой простой истины не знаешь: что каждому карасю впереди уготована уха? Брысь… заколю!

Ёрш ощетинивался, а карась быстро, насколько позволяла его неуклюжесть, опускался на дно. Но через сутки друзья-противники опять сплывались и новый разговор затевали.

— Намеднись в нашу заводь щука заглядывала, — объявлял ёрш.

— Та самая, о которой ты намеднись упоминал?

— Она. Приплыла, заглянула, молвила: «Чтой-то будто уж слишком здесь тихо! Должно быть, тут карасям вод?» И с этим уплыла.

— Что же мне теперича делать?

— Изготовляться — только и всего. Ужо, как приплывёт она да уставится в тебя глазищами, ты чешую-то да перья подбери поплотнее да прямо и полезай ей в хайло!

— Зачем же я полезу? Кабы я был в чём-нибудь виноват…

— Глуп ты — вот в чём твоя вина. Да и жирён вдобавок. А глупому да жирному и закон повелевает щуке в хайло лезть!

— Не может такого закона быть! — искренне возмущался карась. — И щука зря не имеет права глотать, а должна прежде объяснения потребовать. Вот я с ней объяснюсь, всю правду выложу. Правдой-то я её до седьмого пота прошибу.

— Говорил я тебе, что ты фофан, и теперь то же самое повторяю: фофан! фофан! фофан!

Ёрш окончательно сердился и давал себе слово на будущее время воздерживаться от всякого

общения с карасём. Но через несколько дней, смотришь, привычка опять взяла своё.

— Вот кабы все рыбы между собой согласились… — загадочно начинал карась.

Но тут уж и самого ерша брала оторопь. «О чём это фофан речь заводит? — думалось ему. — Того гляди, проврётся, а тут головель неподалёку похаживает. Ишь, и глаза в сторону, словно не его дело, скосил, а сам, знай, прислушивается».

— А ты не всякое слово выговаривай, какое тебе на ум взбредёт! — убеждал он карася. — Не для чего пасть-то разевать; можно и шепотком, что нужно, сказать.

— Не хочу я шептаться, — продолжал карась невозмутимо, — а говорю прямо, что ежели бы все рыбы между собой согласились, тогда…

Но тут ёрш грубо прерывал своего друга.

— С тобой, видно, гороху наевшись, говорить надо! — кричал он на карася и, навострив лыжи, уплывал от него восвояси.

И досадно ему, да и жалко карася было. Хоть и глуп он, а всё-таки с ним одним по душе поговорить можно. Не разболтает он, не продаст — в ком нынче качества-то эти сыщешь? Слабое нынче время, такое время, что на отца с матерью надеяться нельзя. Вот плотва, хоть и нельзя об ней

прямо что-нибудь худое сказать, а всё-таки, того гляди, не понимаючи, сболтнёт! А об голавлях, язях, линях и прочей челяди и говорить нечего! За червяка присягу под колоколами принять готовы! Бедный карась! Ни за грош он между ними пропадёт!

— Посмотри ты на себя, — говорил он карасю, — ну, какую ты, не ровён час, оборону из себя представить можешь? Брюхо у тебя большое, голова малая, на выдумки негораздая, рот — чутошный. Даже чешуя на тебе и та несерьёзная. Ни проворства в тебе, ни юркости — как есть увалень! Всякий, кто хочет, подойди к тебе и ешь!

— Да за что же меня есть, коли я не провинился? — по-прежнему упорствовал карась.

— Слушай, дурья порода! Едят-то разве «за что»? Разве потому едят, что казнить хотят? Едят потому, что есть хочется — только и всего. И ты, чай, ешь. Не попусту носом-то в иле роешься, а ракушек вылавливаешь. Им, ракушкам, жить хочется, а ты, простофиля, ими мамон с утра до вечера набиваешь. Сказывай: какую такую они вину перед тобой сделали, что ты их ежеминутно казнишь? Помнишь, как ты намеднись говорил: вот кабы все рыбы между собой согласились… А что, если бы ракушки между собой согласились, — сладко

ли бы тебе, простофиле, тогда было?

Вопрос был так прямо и так неприятно поставлен, что карась сконфузился и слегка покраснел.

— Но ракушки — ведь это… — пробормотал он смущённо.

— Ракушки — ракушки, а караси — караси. Ракушками караси лакомятся, а карасями — щуки. И ракушки ни в чём не повинны, и караси не виноваты, а и те и другие должны ответ держать. Хоть сто лет об этом думай, а ничего другого не выдумаешь.

Спрятался после этих ершовых слов карась в самую глубь тины и стал на досуге думать. Думал, думал и, между прочим, ракушек ел да ел. И что больше ест, то больше хочется. Наконец, однако ж, додумался.

— Я не потому ем ракушек, чтоб они виноваты были, — это ты правду сказал, — объяснил он ершу, — а потому я их ем, что они, эти ракушки, самой природой мне для еды предоставлены.

— Кто же тебе это сказал?

— Никто не сказал, а я сам, собственным наблюдением дошёл. У ракушки не душа, а пар; её ешь, а она и не понимает. Да и устроена она так, чтоб никак невозможно, чтоб её не проглотить. Потяни рылом воду, ан в зобу у тебя уж види-

мо-невидимо ракушек кишит. Я и не ловлю их — сами в рот лезут. Ну, а карась — совсем другое. Караси, брат, от десяти вершков бывают, — так с этаким стариком ещё поговорить надо, прежде нежели его съесть. Надо, чтобы он серьёзную пакость сделал, — ну, тогда, конечно…

— Вот как щука проглотит тебя, тогда ты и узнаешь, что надо для этого сделать. А до тех пор лучше помалчивал бы.

— Нет, я не стану молчать. Хоть я отроду щук не видывал, но только могу судить по рассказам, что и они к голосу правды не глухи. Помилуй-скажи: может ли такое злодейство статься! Лежит карась, никого не трогает, и вдруг, ни дай, ни вынеси за что, к щуке в брюхо попадает! Ни в жизнь я этому не поверю.

— Чудак! Да ведь намеднись, на глазах у тебя, монах целых два невода вашего брата из заводи вытащил… Как ты думаешь: любоваться, что ли, он на карасей-то будет?

— Не знаю. Только это ещё бабушка надвое сказала, что с теми карасями сталось: и□но их съели, и□но в сажалку посадили. И живут они там припеваючи на монастырских хлебах!

— Ну, живи, коли так, и ты, сорвиголова!

Проходили дни за днями, а диспутам карася

с ершом и конца было не видать. Место, в котором они жили, было тихое, даже слегка зелёною плесенью подёрнутое, самое для диспутов благоприятное. О чём ни калякай, какими мечтами ни задавайся — безнаказанность полная. Это до такой степени ободрило карася, что он с каждым сеансом всё больше и больше тон своих экскурсий в область эмпиреев повышал.

— Надобно, чтоб рыбы любили друг друга, — ораторствовал он, — чтобы каждая за всех, а все за каждую — вот когда настоящая гармония осуществится!

— Желал бы я знать, как ты с своею любовью к щуке подъедешь! — расхолаживал его ёрш.

— Я, брат, подъеду! — стоял на своём карась. — Я такие слова знаю, что любая щука в одну минуту от них в карася превратится!

— А ну-тка, скажи!

— Да просто спрошу: знаешь ли, мол, щука, что такое добродетель и какие обязанности она в отношении к ближним налагает?

— Огорошил, нечего сказать! А хочешь, я тебе за этот самый вопрос иглой живот проколю?

— Ах, нет! Сделай милость, ты этим не шути!

Или:

— Только тогда мы, рыбы, свои права сознаем,

когда нас с малых лет в гражданских чувствах воспитывать будут!

— А на кой тебе ляд гражданские чувства понадобились?

— Всё-таки…

— То-то «всё-таки». Гражданские-то чувства только тогда ко двору, когда перед ними простор открыт. А что же ты с ними, в тине лёжа, делать будешь?

— Не в тине, а вообще…

— Например?

— Например, монах меня в ухе захочет сварить, а я ему скажу: не имеешь, отче, права без суда такому ужасному наказанию меня подвергать!

— А он тебя за грубость на сковороду либо в золу в горячую… Нет, друг, в тине жить, так не гражданские, а остолопьи чувства надо иметь, — вот это верно. Схоронился, где погуще, и молчи, остолоп!

Или ещё:

— Рыбы не должны рыбами питаться, — бредил наяву карась. — Для рыбьего продовольствия и без того природа многое множество вкусных блюд уготовала. Ракушки, мухи, черви, пауки, водяные блохи; наконец, раки, змеи, лягушки. И всё это добро, всё на потребу.

— А для щук на потребу караси, — отрезвлял его ёрш.

— Нет, карась сам себе довлеет. Ежели природа ему не дала оборонительных средств, как тебе, например, то это значит, что надо особливый закон, в видах обеспечения его личности, издать!

— А ежели тот закон исполняться не будет?

— Тогда надо внушение распубликовать: лучше, дескать, совсем законов не издавать, ежели оные не исполнять.

— И ладно будет?

— Полагаю, что многие устыдятся.

Повторяю: дни проходили за днями, а карась всё бредил. Другому за это хоть щелчок бы в нос дали, а ему — ничего. И растабарывал бы он таким родом аридовы веки, если бы хоть крошечку поостерёгся. Но он так уж о себе возмечтал, что совсем из расчёта вышел. Припускал да припускал, как вдруг к нему голавель с повесткой: назавтра, дескать, щука изволит в заводь прибыть, так ты, карась, смотри! Чуть свет ответ держать явись!

Карась, однако ж, не оробел. Во-первых, он столько разнообразных отзывов о щуке слышал, что и сам познакомиться с ней любопытствовал; а во-вторых, он знал, что у него такое магическое слово есть, которое, ежели его сказать, сейчас

самую лютую щуку в карася превратит. И очень на это слово надеялся.

Даже ёрш, видя такую его веру, задумался, не слишком ли он уж далеко зашёл в отрицательном направлении. Может быть, и в самом деле щука только того и ждёт, чтобы её полюбили, благой совет ей дали, ум и сердце её просветили? Может быть, она… добрая? Да и карась, пожалуй, совсем не такой простофиля, каким по наружности кажется, а, напротив того, с расчётцем свою карьеру облаживает? Вот завтра явится он к щуке да прямо и ляпнет ей самую сущую правду, какой она отроду ни от кого не слыхивала. А щука возьмёт да и скажет: за то, что ты мне, карась, самую сущую правду сказал, жалую тебя этой заводью; будь ты над нею начальник!

Приплыла наутро щука, как пить дала. Смотрит на неё карась и дивится: каких ему про щуку сплёток ни наплели, а она — рыба как рыба! Только рот до ушей да хайло такое, что как раз ему, карасю, пролезть.

— Слышала я, — молвила щука, — что очень ты, карась, умён и разглагольствовать мастер. Хочу я с тобой диспут иметь. Начинай.

— Об счастии я больше думаю, — скромно, но с достоинством ответил карась. — Чтобы не я один,

а все были бы счастливы. Чтобы всем рыбам во всякой воде свободно плавать было, а ежели которая в тину спрятаться захочет, то и в тине пускай полежит.

— Гм… и ты думаешь, что такому делу статься возможно?

— Не только думаю, но и всечасно сего ожидаю.

— Например: плыву я, а рядом со мною… карась?

— Так что же такое?

— В первый раз слышу. А ежели я обернусь да карася-то… съем?

— Такого закона, ваше высокостепенство, нет; закон говорит прямо: ракушки, комары, мухи и мошки да послужат для рыб пропитанием. А кроме того, позднейшими разными указами к пище сопричислены: водяные блохи, пауки, черви, жуки, лягушки, раки и прочие водяные обыватели. Но не рыбы.

— Маловато для меня. Голавель! Неужто такой закон есть? — обратилась щука к голавлю.

— В забвении, ваше высокостепенство! — ловко вывернулся голавель.

— Я так и знала, что не можно такому закону быть. Ну, а ещё ты чего всечасно, карась, ожи-

даешь?

— А ещё ожидаю, что справедливость восторжествует. Сильные не будут теснить слабых, богатые — бедных. Что объявится такое общее дело, в котором все рыбы свой интерес будут иметь и каждая свою долю делать будет. Ты, щука, всех сильнее и ловче — ты и дело на себя посильнее возьмёшь; а мне, карасю, по моим скромным способностям, и дело скромное укажут. Всякий для всех, и все для всякого — вот как будет. Когда мы друг за дружку стоять будем, тогда и подкузьмить нас никто не сможет. Невод-то ещё где покажется, а уж мы драло! Кто под камень, кто на самое дно в ил, кто в нору или под корягу. Уху-то, пожалуй что, видно, бросить придётся.

— Не знаю. Не очень-то любят люди бросать то, что им вкусным кажется. Ну, да это ещё когда-то будет. А вот что: так, значит, по-твоему, и я работать буду должна?

— Как прочие, так и ты.

— В первый раз слышу. Поди, проспись!

Проспался ли, нет ли карась, но ума у него, во всяком случае, не прибавилось. В полдень опять он явился на диспут, и не только без всякой робости, но даже против прежнего веселее.

— Так ты полагаешь, что я работать стану и

ты от моих трудов лакомиться будешь? — прямо поставила вопрос щука.

— Все друг от дружки… от общих, взаимных трудов…

— Понимаю: «друг от дружки»… а между прочим, и от меня… гм! Думается, однако ж, что ты это зазорные речи говоришь. Голавель! Как, по-нынешнему, такие речи называются?

— Сицилизмом, ваше высокостепенство!

— Так я и знала. Давненько я уж слышу: бунтовские, мол, речи карась говорит! Только думаю: дай лучше сама послушаю… Ан вот ты каков!

Молвивши это, щука так выразительно щёлкнула по воде хвостом, что как ни прост был карась, но и он догадался.

— Я, ваше высокостепенство, ничего, — пробормотал он в смущении, — это я по простоте…

— Ладно. Простота хуже воровства, говорят. Ежели дуракам волю дать, так они умных со свету сживут. Наговорили мне о тебе с три короба, а ты — карась как карась, — только и всего. И пяти минут я с тобой не разговариваю, а уж до смерти ты мне надоел.

Щука задумалась и как-то так загадочно на карася посмотрела, что он уж и совсем понял. Но, должно быть, она ещё после вчерашнего

обжорства сыта была, и потому зевнула и сейчас же захрапела.

Но на этот раз карасю уж не так благополучно обошлось. Как только щука умолкла, его со всех сторон обступили голавли и взяли под караул.

Вечером, ещё не успело солнышко сесть, как карась в третий раз явился к щуке на диспут. Но явился уже под стражей и притом с некоторыми повреждениями. А именно: окунь, допрашивая, покусал ему спину и часть хвоста.

Но он всё ещё бодрился, потому что в запасе у него было магическое слово.

— Хоть ты мне и супротивник, — начала опять первая щука, — да, видно, горе моё такое: смерть диспуты люблю! Будь здоров, начинай!

При этих словах карась вдруг почувствовал, что сердце в нём загорелось. В одно мгновение он подобрал живот, затрепыхался, защёлкал по воде остатками хвоста и, глядя щуке прямо в глаза, во всю мочь гаркнул:

— Знаешь ли ты, что такое добродетель?

Щука разинула рот от удивления. Машинально потянула она воду и, вовсе не желая проглотить карася, проглотила его.

Рыбы, бывшие свидетельницами этого происшествия, на мгновение остолбенели, но сейчас

же опомнились и поспешили к щуке узнать, благополучно ли она поужинать изволила, не подавилась ли. А ёрш, который уж заранее всё предвидел и предсказал, выплыл вперёд и торжественно провозгласил:

— Вот они, диспуты-то наши, каковы!

Николай Семёнович Лесков (1831–1895)

Час воли Божией

I

В очень древние годы, стародавние, был в некотором незнатном царстве премудрый король по имени Доброхот. Величали его так за то, что он не любил воевать, а всем людям добра хотел. Жить он любил по-старинному и управлял своим королевством с большим благочестием, по всем памятям по отцовским и дедовским и из всех сил хлопотал и заботился, чтобы в его земле правда над кривдою верх взяла и всем людям хорошо было у него под державою, но только всё это дело у него не спорилося. Только что начнёт Доброхот с одного конца своё дело налаживать, как — глядит — оно у него на другом конце расплетается. Долго бился Доброхот всяким родом и способом и умаялся в хлопотах до семи потов, а успеха ему всё-таки нет как нет. И потерял, наконец, Доброхот всякую надежду устроиться, и взяло его от этого такое горе и отчаяние, что не стали его веселить ни скоморошьи потехи, ни пляски, ни женины ласки умильные; опостылели ему звериные ловы, и птичья охота наскучила. Стал

король вянуть и к гробу посунулся.

Заметила это жена Доброхота премудрого — Милолика, королева прекрасная, и начала его обнимать и просить с нежностью, чтоб он пожалел себя, и её, и своих малых детушек и не трудил бы себя долгою, тяжкою заботой, а созвал бы скорее со всего королевства самых сановитых бояр и велел бы им всю премудрость обдумать в большой думе засветло и подать себе пред сумерки всё дело чистое — на ладошечке.

II

Король Доброхот в сей последний раз нежных ласок своей прекрасной королевы Милолики послушался и созвал своих думных бояр со всей земли и начал у них спрашивать:

— Всё ли у нас под моею державой идёт так, как следует?

Советчики отвечали:

— С нашей руки видать, будто идёт у нас всё как следует. Будь только ты у нас многолетне здрав, а для нас ничего, окромя сего, и не надобно.

— Если все вы не врёте, то, пожалуй, быть может, и вправду так, — отвечал король. — Хорошо, молодцы, я для вас постараюсь подольше жить, а только мне то огорчительно, отчего у меня под

державою не всё так, как я хочу: для чего у нас есть холодные и голодные и отчего не для всех равно всё спорится и ладится?

А бояре Доброхоту ответили:

— Что тебе этим пустым делом тревожиться! Не прогневайся, посмотри вокруг, ведь оно и по всей земле повсеместно так — не у нас одних всё хорошее не спорится, не ладится!

— Ну, пускай повсеместно так, — отвечал король, — а мне это не нравится, я хочу у себя это вывести. Учредимте пример на целый свет, чтоб от нас всем людям хорошо стало. Я затем вас к себе и потребовал, чтобы вы мне скорей это дело обдумали. Подите-ка сядьте честь честью в большой сборне вдоль лавок за стол да не спите, поклав друг другу головы на плечи, и обо всём мне до сумерек обдумайте накрепко, а сутемень придите и выложьте.

Советчики засели совет держать и кой час поспали, а после, проснувшись, все между собою заспорили: одни стали говорить, будто всем хорошо было только в старину стародавнюю; а для того и теперь будто надо опять из могилы на свет старину поднять и начать жить всем по-старинному, как было в прошлое время, при дедах и при прадедах, когда будто бы снег горел, а соломой

тушили. А другие стояли за то, что и в ту старину стародавнюю тоже не всем подряд равно хорошо было; а что станет, мол, для всех поровней и порадостней только в будущем. А потому не надо-де нонешним днём очень сильно печалиться и заниматься до устали: нонче, мол, как ни прожить — это всё равно, — хоть и пострадать, так не важно стать: наш народишко терпеливый, выносливый — ему уж не первый снег стелет головы, и ему ничего от беды не подеется; а надо нам половчей учредиться на предбудущее, чтобы в веки веков было наше имя прославлено.

Провели в этих речах всё время засветло, а в сумерках встали с мест, запахнулися и принесли сутемень свои суды к королю в терем и всё готовьем пред ним и выложили.

Слушал долго король все разводы советчиков, и все их слова ему не понравились: покачал он на них головой и прогнал их всех ко своим дворам на полатях спать, а сам ещё в два раза смутней закручинился.

— Мне, — говорит, — от этого их совета совсем нет ни корысти, ни радости, и сказали они несуразное: потому что не я дам Богу ответ за то время, когда меня не было, и не отвечу я и за то, что после меня на свете станется. А я хочу знать, как

я сам теперь должен державствовать, чтобы сейчас всем людям стало полегостней; а вот это-то у меня как раз и не спорится, не ладится.

И начал король один в сумерках по палате из угла в угол ходить, и как до угла дойдёт да повернётся, то вздохнёт глубоко из всей груди, так что везде слыхать во всём тереме.

Тогда подошла к нему тихо в потёмочках старая его мамка, чуждянка, из чужих земель полонённая, и говорит ему попросту:

— Ты чего, моё дитятко, всё вздыхаешь да охаешь? Ты ведь сам виноват — для чего ты задумал искать на бедную долю совета и разума у своих у бояр и советчиков? Им ведь только и дело — особиться, а до общих забот им и нужды нет, потому что все они только себе добра хотят, а ты повели привести к себе старцев божьих, пустынничков, таких, которым уже свет не мил и земля им давно опостылела. Вот ты их спроси, — им врать нечего, им уже ничего в этом свете не надобно, — так они тебе, может быть, правду и выскажут.

Королю это слово понравилось.

— Хорошо, — он сказал, — я тебя очень послушать рад, но только где же могу я таких божьих людей достать?

А старуха отвечает:

— Ты об этом не крушися ни малости: слово сказано, что три праведных в каждом царстве есть, и у нас они, милый, водятся. Вот мне помнится, что слыхала я про трёх угодных пустынников, которые стоят уже много лет на одних местах, и от всего земного они уж давно отстоялися, а теперь только в то живут, что втроём в один голос за твоё царство молятся. Если хочешь ты, чтобы всю правду знать, то скажу тебе, не прогневайся: может быть, только по их молитвам до сих пор Господь Бог твоё царство и милует.

— Хорошо, — отвечал король, — я сейчас хочу видеть этих угодничков.

— Вот таков же и мой совет: пошли, чтобы их сыскать и привести сюда с бережью, и спроси у них сам, отчего у тебя ничто не спорится, не ладится: им всё явлено, и они тебе всю правду, как солнышко, на ладоночку выложат.

III

Король Доброхот совета своей мамки послушался и повелел поставить для него при пути стул со спинкою, да и сел на него рано утречком, чтобы видеть людей, когда они в город идут, да у всех калик перехожих стал спрашивать: не видали ли где трёх пустынников, которые отбыли всё

земное, что им было назначено, а теперь только в то и живут, что за одно его царство Господу молятся, и через те их молитвы священные держава его выше всех на земле стоит.

Калики перехожие, те, что все чудеса в свете божием видели, рассказали королю, что такие праведные пустынички точно есть, но процвели они не в одном месте, а стоят они уже много лет, все порознь спасаются. Один, тот, что постарше всех, просиял в самом диком тесном лесу, где он стал давно на дубу на макушечке, а теперь тот дуб уже высоко возрос и упёрся в поднебесье, и старца и солнце жжёт и буйные ветры бьют; этот называется старик Дубовик, а веку ему давно лет за тысячу. Другой старичок — этому средний брат — процвёл в безбережной степи посреди ковыля, где и журавли, и драхвы с головами хоронятся, и верхового латника с копьём вместе не видно: там закопал себя старичок в землю по пояс и терпит, как его гложет сыпучий червь, а сам кушает только козявочек, которые сами ему в рот вползут; и этот пустынник называется старик Полевик, а веку ему пятьсот годов. Третий же старичок — этим обоим самый младший брат — потопил себя по самую шею посреди невылазных рамедных болот и живёт там с лягушками, с змеями, а в лицо

его жалит пёсья муха, и пискун-комар давно из него уже и кровь всю выпил, а старик всё стоит, не шевелится; имя ему Водовик, а век его триста лет без единого. И все эти дивные старцы теперь уже чуть живы, так что надо их брать с большою опаскою и бережью, потому что от самого малого встрясу все они могут рассыпаться.

И дали калики Доброхоту совет, чтобы послать за старичками самых учтивых людей, полированных, и чтобы взяли послы каждый с собою по мягкой плетушке соломенной, в каких носят гусей пред царским теремом на льду драться. А в каждую плетушечку наказали калики постлать на донышко сена пахучего и мягкого волокнистого мху с старой сосны, а сверху присыпать слегка пухом и драными перьями, чтобы было во что закопаться пустынничкам. И всадить старичков надо вежливо, по-учтивому, и нести во всю дорогу посменно в плетушечках, потому что свои ножки у них отстоялися и ходить они разучилися, а тела у них так изветшались, что нести их посыльным нимало не тягостно.

Разослал король пятьдесят послов во все стороны и велел, чтобы нашли, где хотят, старцев: Дубовика, Полевика и Водовика и чтоб сняли их с насиженных мест бережно, посадили полов-

чее в плетушечки и принесли бы к королю на закорочках. И которые из полсотни людей не найдут старичков, а без пользы даром проходят, тем большого наказания пужаться не надобно и домой идти весело; а которые счастливы будут и праведных старичков принесут, тем ждать себе больших почестей: тем поставят каждому у двора по кресту и по шесту, а наверх шеста вздену цветной колпак, чтобы все, кто мимо пойдёт, вверх глаза бы драл да им бы завидовал. А дорогой чтобы ни о чём старичков не сметь спрашивать, а сказать только им, чтобы они не боялись для себя ни битья, ни бритья, ни горячего укропа, потому что зовёт их сам король к себе на очи и хочет узнать от них только одно: отчего у него всё не спорится и не ладится. И как только они ему об этом скажут, так он их ни о чём больше не станет расспрашивать, а наградит всем, что им надобно, и в какой чин они захотят — в тот он их и пожалует. Если они захотят при короле чтобы быть, то он оставит их жить у себя на застольщине и даст им супротив других кормы вдоволе; а если они, одичавши чрез долгий век, не поймут, как в столице жить и как при каких церемониях надо ухмыляться или морщиться, то король их за то не сказнит, а опять назад в свою глушь сошлёт

на тот манер, как самим им понравится, — хоть в колымагах на таврёной, пушной кошме, хоть опять на мхе и на сене в плетушках соломенных.

Пошли послы королевские, как им было указано, — и во все концы королевства рассыпались, — в каждый след все по парочке, для того, чтобы как найдут старичков, так нести их на закорках, не без отдыха, а друг с дружкою впеременочку.

Шли они, шли, не считая, сколько дней, очень долго, и всё ещё без толку, и зашли уже на самый край королевства — дальше чего и идти нельзя, потому что стоят тут чужие стражники, на плечах пёсьи головы. Но чуть только три пары послов завернулися, вскоре же обрели всех трёх старичков — одного в лесу, другого в поле, а третьего посреди рамедных болот. Сказали им посланцы от своего короля поклон вежливо и стали звать их с собой по-учтивому; но старички им ничего ни в ответ, ни в привет не промолвили, а только, как цыплятки, начали себе тонкими веками глазки защуривать. Тогда посланцы сняли их с насиженных мест и стали на них грозиться и спрашивать:

— Ну-ка вы, бессемянники: нет ли под вами на ваших местах серебра, или золота, или самоцветных камней? Лучше вы, дохлая братия, сами

честью откройтесь, а то ведь мы вам не таковские — запытаем, замучаем до смерти.

Поняли старички слова их или не поняли, но только опять ничего не ответили, а послы их за то переворотили на ловкую сторону и на обе корки отхлопали, и опять стали спрашивать, и опять ничего не добились, — и так до трёх раз отхлопали, а после того посадили их на сено в плетушечки и наказали, чтобы ни один не смел королю на них жаловаться. Потом прикрыли их сверху лопушиным листом, чтобы перелётные птицы их не запачкали, и понесли к королю на закорках, друг с дружкою ношей меняючись.

IV

Сошлися все три пары обретших послов в столицу королевскую в один день на утренней зоречке, когда король шёл из опочивальни королевиной в свою тёплую мыленку. Посланцы как несли старичков дорогой в плетушечках, так их у предбанника на землю поставили, а сами в ряд позади становилися. Помылся король майоранным мылом и щёлоком с кучерявою мятой, с душицею, расчесал кудри и бороду и вышел из мыльни показаться народушку, а послы тут зараз лопухи с плетушечек сняли прочь и Доброхоту

старичками челом в землю ударили.

Король сделался радостен: велел послов накормить, напоить и в его собственной бане отмыть и хорошенько выпарить, а сам подошёл к старцам с улыбкой приветною; но как увидал, какие они сидят испитые, тщедушные — в чём душа в теле держится, то от страха и руки врозь.

Однако же, поглядев на них оком благостным, король осмелел и стал над их над плетушками разговаривать, что вот так и так, научен он сызмлада наукам и мудростям и очень хочет, чтобы всем в его королевстве хорошо было, а никак это у него не спорится, не ладится.

— Спрашивал, — говорит, — я об этом моих мудрых бояр и советчиков, да ничего не дошёл от них умного: или они не знают, или таятся, а говорят все такое, что уже тридцать раз слышали. Нуте-ка вы, — вы вот много лет все молчали и устремляли умы на высокое, — прошу я вас честию: скажите вы мне, отчего у меня не спорится и не ладится?

А старики как сидели, так и сидят во плетушечках, и как молчали они много лет, так и теперь молчат и своего слова не сказывают.

Терпелив был и ласков король, но за это разгневался:

— Что же, — говорит, — вы молчите, как исту-

каны и чучелы? Я посылал за вами много людей полированных во все стороны, а вы мне и по одному слову не сказываете. Вы теперь не в лесу и не в болоте, а в моём стольном городе; здесь молчать, когда спрашиваю, — значит грубительство, и за это от моего утверждения по закону вас будут наказывать. Смекните, что я говорю с вами не ради забавы и прибыли, а для пользы в великих делах государственных. Для чего же вы мне противляетесь? Не забудьте, что вы мне верноподданные, и я могу повелеть, чтобы при мне вас поломя рассечь или привязать вас к конским хвостам, да и размыкать вас по полю.

Но смутился король, что, если старичков казни предать, тогда ничего от них не доведаешь, а если сдать их честь честью с рук на руки палачам-молодцам и велеть развести по застеночкам, да на дыбе потрясти, да расспрашивать, то они и одной встряски не выдержат — все рассыплются в прах и разлетятся пылью по потолкам да по стеночкам.

И опять созвал Доброхот на совет всех своих мудрых советчиков и спросил их: отчего перед ним справедливые старцы упрямятся и что ему с ними надо сделать — как их понудить, чтоб они по одному важному слову высловили?

Вельможи отвечают:

— Мы бы знали, что делать, да ты это дело сам испортил.

— А чем я испортил? — вопросил король.

— А испортил ты тем, что понизил высокий сан — стал с простыми людьми вровнях разговаривать: вот они через это теперь и зазналися. Тебе, кроме нас да стрельцов, ни с кем говорить непригоже, — потому что твоё дело средь всех людей особливое. Чтоб исправить теперь их как следует, дай их нам — мы от них всю их премудрость доведаем.

Король было совсем согласился отдать старцев боярам, но прослышала опять об этом мамка-полонянка доилица и пришла с клюкой к королю, чтоб его отговаривать.

— Не сердись, — говорит, — ты на бедных пустынников; ведь они одичали и молчат уже много лет. Не хотят они и тебе говорить не по грубости, потому будто дело твоё особливое, а они — не прогневайся — опростилися и тебя мнят не выше всех прочих в создании и в особину на себя не надеются!

— Значит, глупы они, — отвечал король, — в сём вина тебе: ведь они сюда с твоего совета и позваны.

— Нет, не глупы они, а неопытны: лгать стыдятся, а прямить боятся. Подожди, они при твоём дворе поживут — сполируются и тогда ухитрятся, как сказать про всё неразберихою, — скажут так, что ничего не будет тебе и другим неприятного, и всё будет то, что твоему могуществу надобно. А только ты потерпи и не давай их на допрос своим боярам-советчикам: видишь сам, чай, что старички они очень слабые, — а бояре твои против слабых усилие творить очень усердные: они их возьмут да с большого усердия запытают и замучают до смерти. Мой совет тебе: будь обходительней; призови ты сейчас лучше всего своего гусляра Разлюляя-гудошника — он измигул[10] мужичонко, лядащенький, ни на мир, ни в семью ничего не работает, а одним своим пустобрёхом на свете жив; но зато знает он все разные хитрости и все ходы с подходами. Посмотри-ка, он чего занесёт пустолайкой и враз у старичков правды допросится, — обойдёт их если не лаской, так хитростью.

Доброхот позвал своего плясуна, гусляра Разлюляя-гудошника и сказал ему:

— Ты, лядащий мужик, измигул неработистый,

---

[10] Примечания: 10

Измигул — человек, уклоняющийся от работы, лентяй.

только хари гнёшь да врёшь не знать что пустолайкой, — здесь от тебя до сей поры никакой пользы не было, а теперь я тебя хочу поставить совсем на другую стать. Полно тебе в дураках ходить да ерошиться: я теперь тебе своё государево великое дело приказываю, чтобы ты, как умеешь и ведаешь, допытался у старичков их откровения премудрости: отчего у нас в королевстве не спорится, не ладится.

И закончил король Разлюляю решением:

— Узнаешь премудрость — дам тебе сто рублей, а не узнаешь — велю дать сто плетей. Помни, что моё слово королевское твёрдо, как Бог в небеси, — что я сказал, то и станется.

V

Разлюляй-измигул, гулевой мужичонко, шершавенький, повсегда он идёт в зипунишке в пёстреньком — один рукав кармазинный, а другой лазоревый, на голове у него суконный колпак с бубенчиком, штаны пестрядинные, а подпоясочка лыковая, — не жнёт он и не сеет, а живёт незнамо чем и питает ещё хозяйку красивую да шестёрку детей, — на которого ни глянь, сразу знать, что все — Разлюляевичи. Ходит он повсюду, болтается, и никто разобрать не может: видит

ли он добро в той темноте, что было до Гороха царя, или светится ему лучшее в тех смыслах, какие открылися людям после время Горохова. Никто его не чуждается, а все зовут его «пустолайкою»; но измигул Разлюляй ни на чьи слова не обижается и за лёгким тычком не гоняется, а людей потешает и как устанет врать пустолайкою, то соловьём свистит, то лопочет варакушкой, на руках идёт, боком катится и на всякий на разный манер притворяется.

Но как выслушал Разлюляй королёв приказ, позабыл он все свои забавы и шуточки и начал проситься от этого дела прочь, — что «не мне-де такое важное дело ведати»; но король топнул ножкой, и пошёл Разлюляй к старикам и начал вокруг них, по обычаю, измигульничать: митусить ногами и кланяться да притворно сквозь слёзы приговаривать:

— Ой вы гой-еси, старички справедливые, треблаженные, божьи молчальники, разомкните уста свои благовестные и скажите скорей, не потаи[illegible]те от короля от нашего, милосердного батюшки, отчего у него под державой всё добро не спорится, не ладится?

А старички как молчали, так и теперь молчат, только знай себе в кошёлочках гнездятся.

Тогда Разлюляй стал на другой манер измигульничать и начал их пробовать жалостью:

— Мне нужда есть узнать это страшная: потому что если вы мне скажете, отчего не спорится добро, то король обещал мне дать сто рублей; а если не скажете, то он даст мне тогда сто плетей. Его слово королевское крепко и сбудется — не забудется. Да вам и самим, старичкам, для себя молчать не советую, потому что король вас тогда не отпустит назад ни в степь, ни в лес, ни в болото, а велит вас подвесить в кошёлочках под полати в большой избе, где он держит частый совет со своими вельможами. Что там по все дни наслышитесь — спаси только господи. Вот вы на этот счёт пораздумайте: каково-то вам там придётся слушать совсем непривычные речи до самого до веку! Выручайте и меня и себя, отцы, а то нагрешите вы с ними три короба и не годитеся после того ни к стру, ни к смотру, ни в рай, ни в ад, ни в царство небесное, а так и останетесь висеть под полатями.

Так напугал этим Разлюляй старичков, что они стали глазами водить во все стороны и изгоревшими устами своими начали пошевеливать, а измигул Разлюляй-пустобрёх как увидел, что успел им загнать во лбы загвоздку здоровую, —

сейчас побежал к королю и говорит:

— Что мне от твоей милости сказано, я всё это уже выполнил: старички уже теперь полируются — стали уже губами двигать и скоро шептать начнут, — одевайся скорей да иди-ка их слушать, что они высловят, какие премудрости.

Как пришёл король да нагнулся к первой плетушечке, так и стало слышно ему, что старик Дубовик и впрямь полируется — об ивовое плетение, как поросёнок, всеми боками трётся, а сам робко пыхтит и тихо покрёхтывает.

Король его и спросил: «Отчего на свете доброе не спорится и не ладится?»

Старик Дубовик прошептал:

– Оттого, что люди не знают: какой час важнее всех.

Доброхот нагнулся к другому — к Полевику, и того спросил, а тот шепчет:

– Оттого, что не знают: какой человек нужнее всех.

Нагнулся Доброхот и к третьему старичку, а тот ему сказал:

– Оттого, что не знают: какое дело дороже всех.

И так молчальникам трудно это было проговорить с отвычки, что они как только сказали, так и

ослабели и больше не полируются, а лежат, едва дышат, на донышках. Ничего от них король больше никак не мог допытаться, доведаться и ещё больше рассердился, потому что сказанные ими слова стали ему загадками, которые понимать можно надвое. Король же привык так всё брать, чтобы было ему всё как на ладонке положено, и оттого ему теперь ещё больше досада пришла, и приказал он сделать с старичками точь-в-точь так, как им Разлюляй пригрозил: указал Доброхот, чтоб их не носить ни в лес, ни в болото, а подвесить их в кошёлках в большой советной избе под полатями и держать их там, пока они не скажут: «какой самый важный час, кто самый нужный человек и какое дело дороже всех».

Отнесли старичков в советную избу и подвесили под полатями в их плетушечках, посыпали им пшённой кашки, чтоб они впросоночках зоблили, и поставили на верхнем полу ведёрце воды с медным ковшиком, а сами все спать пошли и разоспались до одури самым крепким сном до самого до свету.

Но, однако, спали не все люди во всю ночь без просыпу, — проснулся в первые петухи сынок кравчего, побежал в избу незапертую и украл из ведра с водой красный медный ковш, чтобы

променять его на подторжье на пряники. А потом ещё не поспалось самому королю Доброхоту премудрому: всё казалось ему, будто его закожные блошки покусывают. Провалялся он так без сна до последних петухов, и надоело ему в постели барахтаться — без сна лежать, только маяться; встал он горошком, распрямился, нахватил себе на плечи королевскую глубоньку и пошёл старичков посмотреть: живы ли они, и здоровы ли, и чего они через ночь, полируясь, надумались?

Пришёл король в избу, подставил себе к полатям приставную скамеечку, но только что глянул в плетушечки, — так и рот раскрыл, и завопил благим голосом, и со скамьи на пол навзничь треснулся. Все плетушечки были пусты-пустёхоньки, и ни от одного старичка ничего не осталося, кроме смятого места да наседней. Разлетелись ли они лёгкою пылью по стенкам да по полу или унесло их по воздуху, но только тут, где они сохранялися, ничего не осталося.

Король так испугался, что как со скамьи упал, так и не становится на ноги, а катается по полу и так бьётся, что вся земля трясётся. Стало страшно ему, что когда ни есть, благим временем, уберегут самого его слуги верные, так что, пожалуй, лиходеи и его со двора сведут и растрясут где-

нибудь без остаточка!.. Услыхали караульщики, как земля дрожит, и стали спросонья бить громкий всполох по чугунной доске на целый двор и кричать благим голосом: «Ай, земля сотрясается — мы насилу за колышки держимся!»

Перепугались всполоха и крика королевские спальники и застольники и начали со страху вокруг себя на карачках ползать, а потом пришли и вылили королю всё ведро воды за ворот и насилу нашли королевского доктора-немчина, который один знал, что сделать надобно: он поднёс Доброхоту под самый нос стеклянную столбушечку, а в столбушечке тёртый крепкий хрен, и защекотал ему перстами в подмышечках.

От хрена и щёкота королю сразу полегчало: он стал похохатывать, и враз возвратились ему все его чувства нежные и большие заботы о подданных. Созвал он опять к себе всех бояр и советчиков и стал спрашивать их: где делись пустыннички, не извёл ли их кто какою отравой, боясь их правдивых слов, или не продал ли их с ненасытной душою куда-нибудь в чужое царство безбожное, где их станут неволить в римский костёл ходить и есть скоромное по середам и по пятницам.

Бояре, как могли, постарались короля успока-

ивать и стали ему доводить, что никакого тут зла с умыслом не случилось, а что просто жил, верно, в палате под полом жадный хорь и поел этот жадный хорь старичков без остаточка.

И стали все короля отвлекать и рассеивать — что убиваться ему о такой пустой пропаже долго не следует, что «старички были люди ветхие и свой век давно уже отжили».

— Пропоём о них панихидочку, вспомянем их кануном на паперти да у себя по домам блинками с припёкою и будем править всем опять по-старинному, как было при дедах наших и прадедах. А что никак не спорится и не ладится — про то, что и думать не следует; на земле беднякам всегда будет жить тяжело, да никуда они не поденутся, ведь на небо взлететь крыльев им не надо. Поскулят и на том успокоятся!

Королю же, однако, эти слова не понравились, и не поверил он тому, чтобы старичков у него в избе хорь изъел, — а сказал он так:

— Если хорь изъел, то где же их косточки? Панихиду о них я согласен петь, да ведь надо петь её над могилами.

Тогда приступил к королю судный дьяк, во всех делах многоопытный, и сказал королю, что бояре болтают негожее: не хорь изъел старичков, а

ушли они не иначе как своею колдовскою хитростью: пролили из ведра воду на пол, а сами в медный ковшик и уплыли. Их теперь нигде не сыскать никакими манерами. От лихих колдовских людей таковые дела не раз были во всех землях и при всех дедах и при прадедах и везде на телячьих на шкурах записаны чертами и резами, со брегами широкими, и в самых глубоких подвалах те шкуры положены, чтобы хранить в поучение внукам и правнукам.

А король говорит:

— Хорошо, чему верили деды и прадеды, тому я всему с охотою верую, но ведь не грех и то узнать: что как устроено? Вот я хочу, чтобы вы показали мне: через какое подполье старцы в медном ковше сквозь землю в океан-море спустилися? Согнать сейчас со всего королевства плотников, и чтобы взломали они враз все полы во всех домах. Не ломать только в моём тереме да у серых сельских людей, у которых в жильях полы не стланы.

VI

Пошли бояре невеселы: не хотелось им посылать людей, чтобы сгонять со всего королевства плотников и ломать половицы в жилых домах, а не смели ослушаться короля и не знали, как

своему горю помочь. Но, на их счастье, узнала опять обо всём этом королевская мама чуждянка-доилица, и пришла она к королю с прежней смелостью и начала говорить ему по-учтивому:

— Ты прости меня, неразумную: я хоть и стара и глуха, а кое-что слышала и могу тебе рассказать: куда делися старички. Их не хорь изъел, и не сплыли они в медном ковшике, а настращал ты их до смерти сам, что велел их подвесить к полатям в избе, где держишь совет свой с своими боярами. Старички век сидеть и всё слушать вас забоялись. Я не спала всю эту ночь от лихого от вереда и слышала, как они друг со дружкой в потёмках скликнулись. Поначалу все они сразу чирикнули, точно будто сверчки под загнёточкой, а потом зачали в своих плетушечках покачиваться и так раскачались во все стороны, что враз опрокинулись и с сенцом вместе на пол и выпали.

— Где же они теперь? — закричал король.

— А теперь их и след простыл: уползли на карачках с твоего двора и все в буйной траве без следочка и скрылися. Теперь их тебе ни за что не найти, потому что трава у нас этот год очень рослая; да и дело до них уж теперь не касается.

— Отчего же оно не касается?

— Оттого, что приснился мне вещий сон, и был слышан во сне таковой глагол, что отгадать их премудрость может только одна чистая жалостница, которая всех равно сожалеет, а сама о себе ничего вовсе не думает. Так вот ты теперь оставь старичков, а посылай искать эту девицу.

Король свою маму, чуждянку, послушался и сейчас же разослал дворян и боярских детей девицу разыскивать, а на кормы их повелел собрать по всем дворам с каждого дыма по шелегу.

С неохотой большою и с тугою боярские дети и дворяне в подневольный отъезд собиралися; перво-наперво все они взяли шелеги, а потом зачали у себя по домам печи топить и в банях париться. А потом долго справляли себе лубяные зобёнки раскрашенные да укладывали в них пироги с ветчинной начинкой, медовые оладьи, да колобки, в жиру кипячённые, да блины с разною с припёкой, и когда, наконец, напосудились, то кое-как с трудом за ворота повыползли и поехали в путь со своими стремянными. А как за околицу выехали, так сейчас взяли с прямого пути в стороны и разъехались к родным да к приятелям и начали там есть досыта, пить допьяна, а напившись — кости и зернь метать, и играв — подрались и друг дружке под очи синявы наме-

тили, а потом помирились, на синие места муки с мёдом намазали и легли, крепко выспались, а как хмель прошёл и синяки позаиндевели, — послы все назад возвратились и почали разные страхи рассказывать про то, где будто были и что видели, и, пред иконами став, забожились, что хоть много на свете есть непонятного, но нет нигде такой девушки, которая бы всех сожалела, а о себе об одной не заботилась.

— К этакой, — говорят, — если б была она, весь народ на один край света сбежался бы и весь свет бы тогда перекувырнулся.

VII

Услыхав такой сказ, король так опечалился, как до сих пор и не было: не стал он совсем ни есть, ни пить, ни по галерее гулять, дышать чистым воздухом, а залёг, как медведь на зимовочку. И вот лежит он таким манером раз в сумерках, совсем тощий, у себя в верхней горнице на лежаночке, и едва через силу говорит своей бабе-доилице:

— Неужели же я так и умру, не доведавшись: какой час важнее всех, какой человек нужнее всех и какое дело дороже всех?

А баба ему отвечает:

— Если будешь всё бояр рассылать, — пожалуй,

что так и не дознаешься, а попробуй пошли опять отыскать девицу-разгадчицу своего Разлюляя-гудошника. Пусть он её хоть и век ищет, но без неё чтобы не шёл назад. Он мужичонко корявый, лядащенький, говорит пустолайкою, а за ним никакие дела не задержатся, а кормов ему от казны супротив бояр можно дать всего одну долечку, да и то почитай, что не надобно: он и так пропитается как-нибудь одною своею верностью. Верных псов-то добрый народушка и весь век держит на бескормице. Пусть и он при всей верности своё счастье испробует. Пускай высечет себе топором в заказном лесу хоть костыль с клюкой, хоть дубинку здоровую, а на плечо перекинет пенечную оброть конскую, и довольно ему принадлежностей. Пусть идёт, будто надо ему коней искать: «на росу, мол, пустили, а они с росы разбежались». И пусть так идёт, куда знает сам, и проходит хоть сквозь целый белый свет: где ж нибудь на краю света разыщет он девицу-отгадчицу. Ведь сквозь тартарары она небось не провалится.

— Хорошо, — отвечал король, — все твои рассуждения умные, и они мне всегда очень нравятся: пошлём Разлюляя во место больших бояр; а только не вздумаю, какое ему посулить за его службу жалованье?

— Обещай что больше, то лучше. Пусть больше зарится, а там, что взаправду дашь — будет видно, по его старанию. И совсем ничего не дашь — тоже стерпится: на тебя ведь ни в суд не пойдёт просить, ни в полицию. На тебя один бог судья: своё дело совсем особливое.

— Это правда, — отвечал король, — на земле мы не судимся, ну, а всё-таки надо и нам меж людей вести себя с честностью: что королевским словом обещано, то уж надо и выплатить, всё равно как по бирочке.

— Ну, так, пожалуй, его опять и в этот раз в одностай против прежнего: если он исполнит свою службу и найдёт девицу-разгадчицу, дай ему в те поры полных сто рублей, а если не исполнит — не сыщет девицы, вели дать ему полностью сто плетей, да и отпусти его тогда, бог с ним, пусть идёт опосля к своему двору, а ты на него больше не гневайся и пожалей его за старание.

— А как он и девицы не найдёт, и сюда к нам со страху совсем не воротится? Он ведь пустой человек, ему везде всё равно — в целом мире отечество.

— Ну, про это, — сказала старуха, — я, друг мой, не сведуща. Позови к себе из приказа посольского судового дьяка, который послам ярлыки даёт за

печатями; дьяк тебе это дело всё оборудует.

Пришёл дьяк и привёл с собою самого хитрого подьячего с приписью, и подали королю такой совет, что ярлыка Разлюляю вовсе не надобно, а как станет король отпускать Разлюляя в последний раз, то сказать ему, что идёт он послом не на целый век, а даётся ему сроку ходить по свету всего три года, и если он к концу третьего года своей службы не выполнит, то ему самому зла не последует на чужой земле, а тут, дома, его дети с их матерью каждую неделю будут ставлены на площадь по три утра и будут биты в три прута, а при том битье у них будут спрашивать: знают ли, где их отец и когда перед светлые королевские очи воротится?

— Пригрози-ка так, — сказал дьяк, — Разлюляй хотя и пустой человек, а дети всякому своя кровь: небось и он пожалеет ребят и жену и назад придёт. Таковые разы уже не раз были и на шкуре телячьей записаны чертами и резами, со брегами широкими, и в подвал под избой на сохрану положены.

Король молвил втишь, что ему самого Разлюляя жаль, но и дьяк и подьячий с приписью его успокоили.

— Нельзя никого сожалеть нам в особину, по-

ка всё вообще ещё не устроилось. До всеобщей устройки кто-нибудь пусть потерпит, для других постарается, и зато будет всем польза в будущем, а ему это зачтётся на тот свет душевным спасением.

И изволил сказать король, чтобы собрать Разлюляя в путь, а кормов ему присудили дать небольшим положением: толоконца за пазуху да узелок соли в тряпочке, а дальше пусть чем сам знает, тем пусть и кормится.

Сытее его снаряжать и не стоило, потому что дело, за которым шёл он послом, совсем ненадёжное. Весь народ о том знал от бояр сановитых доподлинно. Да, кроме того, Разлюляю нигде кормов и не надобно. Оголодает, так может либо песню спеть, либо ударить хорошенечко вприсядку, и везде себе хлеба он выпляшет, а не выпляшет, так и сам возьмёт потихонечку. Ведь съестное тайно взять не грех, а благородиться Разлюляю не для чего: на нём чина большого не кладено; ударят по шее — согнётся, а запрут где-нибудь — выерзнет подворотнею и опять пойдёт веселёхонек.

Измигул же и нетяг Разлюляй Разлюляевич не дурак тоже был: не взманила его большая честь, чтобы быть в послах, и начал он сильно отпра-

шиваться и до той поры пред троном в половицу лбом стучал, что набежала у него на лбу шишка, как гриб, что зовётся волвянкою. Представлял он королю Доброхоту все доводы, что и не умён, и не знает он, и на все языки не выучен, и не с каждым вровнях говорить может, а здесь без него дома ребят кормить некому и некому их учить уму-разуму и почтению королевскому.

Только просьбы его ни король, ни бояре не слушали, а сказали ему, чтоб о детях своих нимало не плакался, потому что их сошлют до его возвращения к самому королю на птичный двор и приставят утят стеречь, и будут им там и корм вдоволе, и во всех смыслах научение; а самого Разлюляя выпихнули за ворота, как он дома был, в одном зипунишке с заплатами, в руке дубиночка, а на плечах оброть конская, — будто он ходит да сбеглых коней ищет.

Нечего было больше делать Разлюляю, и пошёл он искать девицу-разгадчицу. И шёл он всё честь честью самым смирным обычаем, нигде ничего, кроме съестного, не крал, и когда не давали вина, не пьянствовал, а всё шёл вперёд; долго ли, коротко ли, и зашёл он страсть как далеко, на самый почти край света. Встречал он на своём пути много разных людей, и звероловов, и ко-

робейников, и пахарей, и у всех, кого встречал, всех расспрашивал, какой час важнее всех, какой человек нужнее всех и какое дело дороже всех; но никто этого разгадать не мог. А обратно те, кого он расспрашивал, сами хотели знать от него: отчего у него на лбу выскочила шишка волвянкою? А Разлюляй говорил про волвянку всякому разное: то будто он своему королю у Бога довечного живота просил и всё в землю кланялся, то будто сам за свои грехи каялся. Наконец повстречался он раз с воровским Цыганом, под самую Пасху великую, и тоже стал у того Цыгана про своё дело спрашивать; но Цыган ему засвистал и показал в перстах загогулину и говорит:

— Ты мне прежде сам скажи: хорошо ли жить у вас под державою и отчего у тебя на лбу вспухла шишка волвянкою?

Разлюляй ему рассказал, что жить у них очень сладостно, а что шишка у него сделалась от больших молитв; но Цыган говорит:

— Не обманешь, брат, я и сам богомолен и посты держу, когда нечего есть, а на лбу у меня нет ещё шишки волвянкою. Признавайся по истине.

— А по истине, — говорит Разлюляй, — я в бане мылся да с полка свалился.

— Что же ты за полок-то не уцепился?

— Очень угоревши был.

— Вот, я вижу теперь, ты говоришь мне всё по совести: ишь какие вы, братцы, счастливые — вас и кормят, и поят, и спины вам порют — чего ещё надобно! Теперь мне с тобою вдвоём ночевать не страшно, — отвечал Цыган, зубы скалючи, и обещал ему завтра натощe отгадать все три загадки. Так легли они и покрылись зипуном Разлюляевым, а в ночи встал Цыган, съел всё толокно, украл оброть, надел зипун, да и был таков.

Остался Разлюляй в одних портках да в рубахе и поплёлся в пустынный скит, где жил высокий поп Сирах, у которого была одна ряса в дырах, а читал он всё книгу Премудрости; но только оказалось, что Сираха-попа давно уже и на свете нет, а на его месте живёт новый поп, хотя ростом и низок, да зато на нём сорок ризок, и он поёт и читает молебны с акафистами, а в Сирахову книгу Премудрости не заглядывает. Ниоткудова нет Разлюляю ни совета, ни помощи, только всё ему бедства множатся, и идёт он, сам под собой земли не видит и проливает слёзы горючие. Тутто над ним, наконец, Бог и сжалился — даровал ему встречу желанную.

VIII

Сам не свой, Разлюляй шёл всё далее, и зашёл в самый тёмный лес, и заснул на мху на полянке, и проспал с полдня до полночи, а в полночь прокинулся и увидел он там при луне старичка очень старого, в долгой рубахе до пяточек, — стоит да с лип лычко дерёт, а устами поёт тихо Спасов стих.

Разлюляй думает: «Что это — либо сон снится мне, либо видение, или такой заправский старик, которому в ночи спать не хочется? А не лучше ли мне, на всякий раз, с старичком поздороваться?..» Взял и сказал ему по-учтивому:

— Помогай Господь тебе, дедушка!

Старик отвечает:

— Будь и ты здоров, Какойто Какойтович, и скажи, как тебя зовут иначе?

Разлюляй ему назвался.

— Хорошо, — говорит старичок, — Разлюляй — имя весёлое; да скажи-ка мне, Разлюляй, для чего ты здесь измигульничаешь, зачем у нас по лесу шляешься? Или вы уж свои-то леса все повывели?

Разлюляй ему отвечал, как леса свели, да притом рассказал, и зачем послан, и что претерпел, и

как потерял все свои принадлежности; а старик ему говорит:

— Твоё дело, брат, для меня непонятное, ну а только сдаётся мне, будто я тебе в этом деле помочь могу.

— Помоги ради Господа, дедушка, а тебе Господь Бог заплатит сторицей.

— Да, Господь-то, Господь, всем нам батюшка, а по нём и все братья мы, а ты, молодец, не зевай-ка, а полезай-ка вот этой глухою тропиночкой; теперь уж горазд ночи убыло, уже волк умылся и кочеток пропел. Да иди, не борзясь, а с терпением и не бранись никак дурным словом, не гони от себя своего сохранителя-ангела. Так пройди ты через весь долгий чёрный лес, и придёт тебе там впоперёк пути холодная балочка; ты переплынь вплавь без страху через холодную балочку да пройди опять весь красный сосновый бор и увидишь прогалинку, а на ней посредине приметный калинов куст, и от того куста поворот будет на полдень, и там ты увидишь поляночку, а посреди той поляны стоит больной журавель окалеченный: одно крыло у него всё как следует, а другое повисши мотается, и одна нога тоже здоровая, а другая в лубочек увязана. Не то его в небе орёл подшиб, не то не знать для чего подстре-

ли княжьи охотники: они убивать и зверков и птиц спаси господи какие досужие! А у меня есть внучка-девчурочка, тут в лесу со мной и выросла, да такая, Бог дал, до всех сердобольная, что не обидит козявочку — вот она того журавля нашла да в лубочек ему хворую ножку и повила. Ну, теперь ей заботы и прибыло: доглядает его и даёт ему зёрнышки, пока журавелько поправится да дождёт себе по поднебесью в тёплые края попутчиков. Там и сама она, моя внучка-то, от поляны от той в стороночке на сухом взлобке наших овец пасёт. Ты узнаешь её — такая девица пригожая, глазом посмотришь — век не забудешь, сколько светит добра из ней. Она там либо волну разбирает, либо шерсть прядёт… Всё сиротинкам готовит к студеной поре на паглинки… Не гордись пред ней, что ты королевский посол, а спроси её: она тебе может всё рассудить, потому что дан ей от Бога светлый дар разумения.

Разлюляй так и вскрикнул от радости.

— Боже мой! — говорит. — Ведь её-то мне только и надобно! Про неё, про девицу, мне только и сказано; мне других никого бы не надо и спрашивать.

— Вестимо, не надобно. Кто в суете живёт, тем разве могут быть явлены тайны сердечные!

— А кто же ещё там с твоею внучкой, какие люди живут вместе, дедушка?

— Господь с ней один там, один Господь-батюшка. Он один её бережёт, а людей с ней никаких, милый, нетути.

— Как же она не боится одна в глухой дебри жить?

Тут старик слегка понасупился.

— Полно-ка, — говорит, — заводить нам про боязнь да про страх речи негожие! Что ей за страх, когда она про себя совсем и не думает!

— Господи! Вот это она и есть! — завопил Разлюляй. — Вот это её-то одну мне и надобно!

И забыл Разлюляй про всю усталь свою, побежал шибко к девушке. И на долю свою он больше не плачется, и на радости не свистит соловьём, и не прыгает, и не лопочет варакушкой, а поёт благочестный стих:

Как шёл по пути слабый путничек,
А навстречу ему сам Исус Христос.

Пробежал так Разлюляй без усталости весь и чёрный и красный лес, переплыл без боязни холодную балочку, опознал и приметный калинов куст на поляночке и увидел, что там в самом деле стоит хромой журавль, одна нога в

лубочке увязана, а сам тихо поводит головой во все стороны, и глазами вверх на небо смотрит, и крылом шевелит, ожидает попутных товарищей. Но едва увидал журавль, что идёт Разлюляй — чужой человек, вдруг закурлюкал, и замахал живым крылом, и запрыгал на здоровой ноге ко взлобочку. А там, прислонившись у дерева, стоит ветвяной шалаш, а перед тем шалашом старый пень, а на пне сидит молодая пригожая девушка, с большою русою косой, в самотканой сорочке, и прядёт овечью шерсть, а лицо её добротою всё светится. Вокруг неё ходит небольшое стадо овец, а у самых её ног приютился старый, подлезлый заяц, рваные уши мотаются, а сам лапками, как кот, умывается.

IX

Разлюляй подошёл к девице не борзо, не с наскоку, а стал смотреть на неё издали, и лицо её ему чересчур светло показалось — всё добра полно и вместе разума, и нет в ней ни соблазна, ни страха заботного — точно всё, что для ней надобно, ею внутри себя уготовано. И вот видно ему, что встала она при его глазах с пенушка, заткнула недопряженную шерстяную куделю за веточку и пошла тихо к кустику, за которым

стоял Разлюляй, тайно спрятавшись, и взяла тут из ямки мазничку дегтярную, и стала мазать драный бок дикой козе, которая тут же лежала прикрыта за кустиком, так что до этого Разлюляй и не видал её. Тут же Разлюляй и не вытерпел — вышел он навстречу к девушке, и поклонился ей по-вежливому, и заговорил с ней по-учтивому:

— Здравствуй, красная девица, до других до всех ласковая, до себя беззаботная. Я пришёл к тебе из далёких стран и принёс поклон от короля нашего батюшки: он меня послал к тебе за большим делом, которое для всего царства надобно.

Девица поглядела на Разлюляя чистым взором и отвечала:

— Будь и тебе здесь добро у нас. Что есть в свете «король», — не знаю я, и из каких ты людей — это мне всё равно, а за каким делом ко мне пришёл — не теряй время, про то дело прямо и сказывай.

Враз понял Разлюляй, что с ней кучерявых слов сыпать не надобно, и не стал он дробить пустолайкою, а повёл сразу речь коротко и всё начисто.

— Так и так, — говорит, — вот что у нас в королевстве случилося: захотел наш король сделать, чтобы всем хорошо жить, а ничего это у нас не спорится, не ладится, и говорят, будто всё будет

не ладиться до той поры, пока не откроем премудрости: *какой час важнее всех, и какой человек нужнее всех, и какое дело дороже всех?* Вот за этим-то делом и послан я: и обещано мне королём моим ласковым, что если я принесу отгадку, то он пожалует мне сто рублей, а если не принесу, то не миновать мне тогда счётных ста плетей. Ты до всех добра и жалостна, вот даже и зверки и птицы к тебе льнут, как к матери; пожалей же и меня, бедняка, красна девица, отгадай мне премудрость, чтобы не пришлось мне терпеть на своём теле сто плетей, мне и без бойла теперь уж мочи нет.

Выслушала девица Разлюляеву речь и не стала его ни измигульником звать, ни расспрашивать, как набил он себе на лбу волдырь волвянкою, а сорвала у своих ног придорожной травки, скрутила её в руках и сок выжала да тем соком лоб Разлюляю помазала, отчего в ту же минуту у него во лбу жар прошёл и волнянка принизилась. А потом девица подошла опять к своей шерстяной кудели и отвела нить пряжи длинную, и когда нить вела, заметно всё думала, а как стала на веретено спускать, — улыбнулась и молвила:

— Хорошо, что ты не задал мне дело трудное, сверх моего простого понятия, а загадал дело Бо-

жие, самое простое и лёгкое, на которое в прямой душе ответ ясен, как солнышко. Изволь же ты меня теперь про эту простую премудрость твою по порядку расспрашивать, а я о ней по тому же порядку тебе и ответы дам.

Разлюляй говорит:

— Молви, девица: какой час важнее всех?

– *Теперешний,* — отвечала девица.

— А почему?

— А потому, что всякий человек только в одном в теперешнем своём часе властен.

— Правда! А какой человек нужнее всех?

– *Тот, с которым сейчас дело имеешь.*

— Это почему?

— Это потому, что от тебя сейчас зависит, как ему ответить, чтоб он рад или печален стал.

— А какое же дело дороже всех?

– *Добро, которое ты в сей час этому человеку поспеешь сделать.* Если станете все жить по этому, то всё у вас заспорится и сладится. А не захотите так, то и не сладите.

— Отгадала всё! — вскричал Разлюляй и хотел сразу в обратный путь к королю бежать, но девушка его назад на минуточку вскликала и спросила:

— А чем ты, посол, уверишь пославшего, что

ответ ему от меня принёс, а не сам собой это выдумал?

Разлюляй почесал в голове и задумался.

— Я, — говорит, — об этом, признаться, не вздадывал.

А девица ему говорит:

— Ничего, не робей, я тебе дам для уверья его доказательство.

И научила Разлюляя девица так учредить, что когда он придёт к своему королю, то чтобы сказал ему смело всё, не боясь ни лихих людей и не ста плетей, а когда скажет всё, то чтобы не брал себе ста рублей, а попросил их в тот же час раздать на хлеб сиротам, да вдовам, и всей нищей братии, для которых Христос просил милосердия. И если король кроме ста рублей ещё что посулит или пожалует, то и того чтобы тоже ничего не взял, а сказал бы ему, что «я, мол, принёс тебе светлый Божий дар — простоту разумения, так за Божий дар платы не надобно».

Отвечал Разлюляй:

— Хорошо; я так всё и сделаю.

X

С тем отошёл Разлюляй от девушки, и как она его научила, так он всё и сделал: пришёл он и

стал говорить с королём всё по истине, не боясь ни дьяка, ни бояр, ни обещанных ему ста плетей; а потом не принял от него приобещанных ста рублей, а сказал ему слово про Божий дар разумения, за который нельзя ничьей платы брать и не надобно, потому что разуменье дано нам от Господа.

Тут бояре и дьяки все поднялись с свистом и с хохотом и все враз над ответами Разлюляя смеялися и старалися сбить короля, чтобы он не верил словам Разлюляевым, потому что скоморох будто сам эти слова все повыдумал. Но, однако, король Доброхот показал и своё разумение, и на их наученья не подался. Он сказал им:

— Вы в людях ещё различать не умеете, а я вижу, что эти слова Разлюляй сам не выдумал. Если бы сам он их сложил пустолайкою, так просил бы, чтоб дать ему приобещанных сто рублей, а он, как я вижу, мне верный слуга: он не хочет от меня за свою службу ни креста, ни шеста, ни корысти, ни милости. Таких слуг, как он, у меня до сих пор ещё не случалося. Издаю вперёд повеленье, чтобы по всей земле не сметь звать Разлюляя измигульником: он мне лучше всех вас старается. А вот вас бы я всех распустил от себя с большою бы радостью, да нельзя моему двору оставаться

без челяди. Для того только вы мне и надобны.

И захотел было король Доброхот править по всей этой простой, явленной ему мудрости, чтобы было в его земле добро каждому в настоящий час, в теперешний, без метанья очей в непроглядные отдалённости, да вступил ему в мысли страх, что «а ну как другие в соседних землях так не сделают? Ведь тогда одному-то мне у себя на такой манер не управиться посреди других временителей». И решил он, что лучше ему сидеть, как сидел, на престоле своём по-старинному, как и все временители, и держать в одной руке меч, а в другой золотое яблоко. Разлюляю же он указал, чтоб отъехать далеко от стольного города и поселиться жить навсегда там на пасеке, в тёплом омшанике, и есть сотовый мёд с огурцами и репою, сколько похочется, а на базар не ходить и в село не заглядывать, и у себя ввечеру за воротами не садиться на лавочке, и про то, что слыхал от ласковой девушки, ни встречному, ни поперечному не рассказывать.

Но зато, когда стал Доброхот завещать свой престол королевичу, повелел он дьяку, чтобы списали всю эту историю без одной без ошибочки золотою тростию на мехе и коже, чертами и резами, почертив строки без зализей, со бре-

гами широкими во все стороны, и прикладать ко былым словам в стать письмена небылишные, гласные и согласные. И указал Доброхот завернуть этот список в парчу, и в камку, и в холстиночку, и положить на дно в золотой ларец, и убрать в теремной в подвал под семь замков и за семью же печатями: пусть лежит там до времени, пока перейдут временители.

Так это всё в аккурате и сделано, и списание до сих пор лежит под печатями, а дела в королевстве идут все опять по-старинному, и всё там опять не спорится, не ладится, а идёт всё, как было при дедах и прадедах. Не пришёл ещё, видно, час воли Божией.

На том старая сказка и кончена.

Павел Владимирович Засодимский (1843–1912)

Разрыв-трава

За синими морями, за высокими горами, за лесами дремучими, за песками сыпучими, в чужедальной земле жил-был один почтенный старик. Перед смертью он созвал к себе всех нищих той страны…

— Нищая братия! — шамкал старик своими беззубыми челюстями. — Знаю я, что у вас ничего нет… Но у вас могло бы быть много…

Старик закашлялся и стал задыхаться. А нищие-оборванцы, обступив его кругом и затаив дыхание, жадно прислушивались к каждому его слову.

— Вот вам моё завещание! — слабым голосом продолжал старик. — Выберите вы из своей голи человека самого крепкого, сильного да смелого… Много испытаний будет ему… И пошлите вы этого сильного да смелого на край света белого, в тот лес непроходимый, где за каждым деревом в потёмках лешие с ведьмами в прятки играют.

Старик опять закашлялся и бормотал всё несвязнее и несвязнее. Нищие ближе к нему понадвинулись.

— Середи леса стоит избушка с красным окон-

цем, — чуть слышно говорил умирающий, — а на крыше — на коньке — сидит дряхлый, седой ворон и каркает прямо на восток день и ночь. В этой самой избушке живёт старушка; ей ровно триста лет и три года. Она-то и знает про ваше богатство. От неё вы узнаете: что у вас могло бы быть, если бы…

Тут старик захрипел и умер.

В раздумье разбрелась голь перекатная по своим трущобам и норам.

«Что бы такое значило «если бы»? — рассуждали нищие. — Ну, задал старик загадку! Ведь угораздило же его умереть на этом самом слове… Может быть, сбрехнул старый? Последнее-то время, говорят, его из ума вышибало… А может быть, в самом деле слыхал что-нибудь? Кто ж его знает!..»

— Ну, так и быть! — решила нищая братия. — Выберем самого сильного, крепкого да смелого и пошлём его в дремучий лес, на край света белого!.. Пускай ту старуху поищет!

Все единогласно выбрали Трусивого.

Храбрости Трусивого никто не пытал, а сила у него была страшная, про то ведали: двадцать человек не подступай — раскатает! И нравом был крепок, жизнь вёл самую умеренную. И смирён

— даром, что этакая сила сидела в нём: мухи, бывало, не обидит… Трусивый не ослушался мирского приговора, взял в руки по палице — в 50 пудов каждая — и пошёл. Идёт.

Народ-то смотрит на него да сторонится — диву даётся.

А Трусивый только ухмылялся: «Вот, дескать, каков я!..»

Шёл-шёл Трусивый. Сапоги износил он, на дороге бросил; палицы поистёрлись — у каждой по 10 пудов весу сбавилось. Наконец, приходит он на край света белого, к лесу дремучему. Лес тёмный-тёмный, ни зги в нём не видно, и конца ему, кажется, нет. Вступил Трусивый в лесной сумрак, в тишь лесную, смутился духом и вздрогнул, как осиновый лист. Тут разом припомнились ему все ужасные поверья и бывальщины. Из-за каждого дерева, казалось ему, чей-то хвост торчит, чьи-то уши из-за листьев мелькают. Ему уж послышалось вдали и дикое ржание, и визг, и хохот. Ему уже чудилось, что лесная сила на него наступает, и за пнями, за кустами мерещились ему всякие безобразные чудовища… Храбрым Трусивый никогда отроду не был, а теперь в лесу и подавно напала на него трусость великая.

Немного шагов сделал он и скоро во мраке

разглядел в стороне избушку. Подошёл он к этой маленькой избушке и тихонько постучал в оконце.

— Эй, отзовись, коли есть живая душа! — взмолился он и задрожал пуще прежнего, заслышав звуки своей речи: ему почудилось, что в лесу как будто кто-то его передразнивает, смеётся.

У Трусивого со страху зубы застучали… Трепетно прилип он к маленькому оконцу и отшатнулся. В тот же миг оконце отодвинулось, из него показалась взъерошенная старушечья голова с грязной тряпицей вместо платка на седых всклокоченных волосах.

— Для чего ты, добрый молодец, покой мой смущаешь? — сердито спросила старуха, протирая свои заспанные глаза.

— Скажи мне, родная, — обратился к ней странник, — как мне пройти в самую середину леса к той баушке, что живёт на свете ровно триста лет и три года?

Старуха как бы в недоумении широко раскрыла глаза.

— Гм! — промычала она. — Трудное дело ты задумал. Длинна дорожка до той избушки… Придётся тебе идти до неё лет тридцать, а может, и побольше… Да смотри, не пугайся!.. (Тут старуха

улыбнулась, оскалив остатки своих почерневших зубов.) Станет нападать на тебя наша сила лесная, — крепись! Ежели не испугаешься, то долго ли, коротко ли, добредёшь, куда тебе надо. А если побежишь, — пропала твоя головушка! Не найти тебе дороженьки ни вперёд, ни назад, так и станешь блуждать по лесу веки вечные. Сгинешь!.. Ну, вот иди по этой тропинке да помни: не сворачивай с неё!..

Старуха, зевая, указала ему костлявой рукой на тропинку, заросшую травою, и захлопнула окно. У Трусивого зуб с зубом не сходится, по телу мурашки побежали, и волосы вставали дыбом. Посмотрел Трусивый за тёмные, вековые сосны и ели; их толстые, мшистые ветви, как длинные и цепкие руки бесчисленных лесных духов, простирались над ним… Понурив голову, пошёл Трусивый вперёд маленькими шагами — шагами воробьиными. «Не воротиться ли лучше подобру-поздорову, пока не поздно?» — раздумывал детинушка, не зная, что делать и с палицами, и со всей своей силой богатырской. Что поделаешь с палицами противу силы нечистой! Мысль «уйти из лесу подобру-поздорову» шибко пришлась ему по сердцу; она-то и мешала ему подвигаться вперёд. Шагнёт Трусивый, да и остановится,

озирается по сторонам, нюхает: чем пахнет, не смолой ли, не серным ли, едким дымом? И всё думает: «не воротиться ли?..» Оглянулся, а избушки уж не видать за деревьями. Холодный пот крупными каплями выступил на лбу у Трусивого, и руки отяжелели, а ноги — словно свинцовые, и язык онемел, как сухая щепка лежит во рту, не шевелится. Страх обуял доброго молодца, но всё-таки он ещё шагнул раз.

И вдруг поднялся ветер, зашатались деревья, заскрипели, треск и вой пошёл по лесу. Помутилось в глазах у Трусивого, покатились палицы на землю, опустились рученьки могучие. «Конец пришёл!» — мелькнуло у него в голове.

Вот выскакивают на него из-за деревьев чудища косматые, безобразные, гадкие, машут своими тёмными крыльями, шипят, свистят, грозно сверкают на него огневыми очами. То весь лес с верхушек до корней ползучих красным полымем осветит, словно заревом, то вдруг тьма кромешная упадёт. А по лесу-то из конца в конец хохот, грохот раскатывается, гул гудит, стон стоит… Тут почудилось Трусивому, что кто-то мохнатой лапой хватает его за ноги, за шею, тащит за волосы, за бороду дерёт, а отмахнуться — моченьки нет. Набралось много силы бесовской, а Трусивому с

перепугу показалось её вдвое более. Лесная сила всё прибывала да прибывала; сползалась, слеталась она со всех сторон… Шатнулся Трусивый с тропинки и побежал от неё без оглядки, как заяц… Разом всё смолкло. Оглянулся Трусивый — нечисть исчезла, а всё было спокойно и тихо в глубине лесной. Стал он искать тропинки; нет тропинки, — и найти не мог. Так он с той поры и пропал без вести…

* * *

Напрасно ждала нищая братия своего могучего богатыря, не дождалась и решила, что, видно, с ним что-нибудь недоброе приключилось. Выбрали опять сильного, крепкого да смелого, разудалого, лихого молодца — Любивого. Даром, что молод был Любивый, но в силе его никто не сомневался — ни стар, ни мал; смелость свою он уже доказал не однажды на деле. Человек был жизни хорошей, примерной…

Взял он с собой одну дудочку и смело вошёл в лес. Тотчас же, за первыми деревьями, увидел он избушку и, недолго думая, постучал кулаком в окно.

— Кто тут есть? Отзовись-ка! — крикнул он без всякой опаски.

Отодвинулось оконце, выглянуло в него заспанное старушечье лицо и послышался брюзгливый, недовольный голос:

— Эк тебя развозило! Ополоумел, что ли!..

— Скажи-ка мне лучше, — перебил молодец, подбоченившись, — как тут пройти в середину леса к баушке, что живёт на свете ровно триста лет и три года?

— Прыток ты, я вижу! Прыток… Да путь-то долог! Смотри, парень! — брюзжала старуха. — Не умаялись бы твои косточки, не изменила бы тебе твоя молодость. Укатали не одного такого бурку, как ты, крутые горки. Знай же: нападёт на тебя наша сила лесная, станет пугать тебя…

— Не боюсь я вашей силы лесной… Выходи! Ещё поборемся! — промолвил молодец.

— Эх ты, шустрый какой! — заметила старуха. — Ну ладно! Не испугаешься ты наших образин лесных… Положим, так! Да человек-то ты молодой; не мечом, а тонким волосом, не с побоями, с лаской снимут с тебя голову. Не от тёмных страхов, не от зелья или какого-нибудь дурмана закружится твоя победная головушка; закружится она оттого, что жизни в тебе много, — вишь, как она в тебе кипит, по жилочкам ходит, переливается… По глазам твоим вижу, что

ты ласков, много мягкости в тебе…

Правда, в Любивом жизни было много, — кипела и била она, что твой горный ключ. Правда и то, что он был человек мягкий…

— Не страхом, так соблазном станет донимать тебя наша сила лесная! — шамкала старуха. — Боек ты, а она посильнее тебя. Помни же: не сворачивай с тропинки! Свернёшь с неё — прощайся с крещёным миром. Пропадёшь! Не дойти тебе до баушки да не найти дороги и назад… Будешь ты блуждать веки вечные в нашем лесу неисходном.

— Не грози! Не испугался! — сказал Любивый, тряхнул своими русыми кудрями и смело пошёл вперёд, по указанию старухи.

А старуха ему вслед только молча улыбнулась, оскалив свои отвратительные зубы, потом окошечко захлопнула.

Едва Любивый сделал два-три шага в глубь дремучего бора, как вдруг со всех сторон поднялись на него нечистые силы — завыли, заголосили, завизжали, словно тысячи народа живьём жарились на сковороде. Страшилища машут своими тёмными крыльями, стонут, ревут, — треск и вой расходятся по заколдованным дебрям. Махнул Любивый своей дудочкой и пошёл вперёд. Мигом

всё исчезло и по-прежнему тихо стало в лесу. Вокруг немного посветлело…

И видит Любивый: в стороне хатка стоит, а у той хатки, на крылечке, под навесом сидит молодица, такая нарядная да пригожая, что Любивый загляделся на неё. Шаль на молодице расписная, разноцветная; на ножках — сапожки красные сафьяновые; на руках жемчуг, жемчуг на шее, а в ушах драгоценные камни горят…

— Зайди, добрый молодец, ко мне на перепутье! — зазывает его молодица и ласково машет ему рукой. — Зайди! Отдохни немного…

— Не устал! — говорит Любивый.

Тут молодица выбегает к нему на дорогу, раскраснелась вся, как маков цвет, хватает его белой рученькой за рукав и молит:

— Пожалей меня! Ведь я измучилась по тебе… Ночью не спится мне, днём покоя нет… Уж я давно ждала, насилу дождалась тебя, моя радость!.. Да ты хоть в хатку-то ко мне загляни! Посмотри, как в ней привольно. Не найти тебе уголка уютнее, хоть весь свет пройди… Не ходи! Останься! Я буду лелеять тебя, как дитя малое, буду веселить тебя в скучный час, стану петь тебе такие песни, что ты сам от них никуда не уйдёшь. Ты не увидишь, как в довольстве, в радости — с верною, покорною

женой — твоя жизнь пройдёт и тихо закатится, как вечер красный…

Любивый рассказал, по какому делу он идёт.

— Сбрехнул старик, а вы и послушались… — возразила молодица. — Ах! Тебе предстоит трудный путь, далёкий путь… Много опасностей на нём! Для чего гоняться за несчастьем, когда можно счастье взять? Останься!

— Братья меня послали! — твердил Любивый.

— Братья! — передразнила его молодица. — А братья ничуть не пожалеют тебя… Темны у твоих братьев головы… Измучишься ты понапрасну, пропадёшь где-нибудь на дороге, лютые звери тебя растерзают, вороньё выклюет очи твои светлые, умрёшь ты безо времени — без радости, а братья мигом забудут тебя, как будто ты и не жил на свете… Если же ты и не погибнешь, то всё-таки не найти тебе баушки; ничего ты не узнаешь о своём деле. С пустыми руками к своим братьям воротишься!.. Они тебя же и обесславят, над тобою же и надругаются. Не стоит умирать за них! А здесь-то, смотри, какое приволье!..

Любивый вырвал у молодицы свой рукав и пошёл вперёд. Та повалилась ему в ноги.

— На кого же ты покидаешь меня! — слёзно взмолилась она. — Сокол мой ясный! Останься!

Постой!..

Но Любивый даже не оглянулся. Не хотел он изменять своей нищей братии.

Идёт он и видит: на берегу голубого озера, в мягкой густой траве, посреди цветов, под развесистыми деревьями лежит красавица, вся тёмными волосами, как шёлковой волной, позакрылась. Глаза светят из-под бархатных ресниц, как звёздочки ясные из-за чёрных облаков. Губки алые полураскрылись… Смотрит Любивый, дивуется. И во сне-то не приходилось ему видеть таких чудес…

— Иди ко мне! — зовёт его красавица. — День жарок, а здесь — прохлада и тень; трава здесь мягка, цветы душисты… Ты устал, а путь далёк, пустынен. Приляг, отдохни! Смотри: острые камни тебе все ноги изрезали, колючий кустарник все руки тебе исколол. Лицо твоё в крови… Это ветки в лесу так исхлестали тебя! Ты весь в пыли… Иди же сюда! Вот чистое озеро… Выкупайся! А потом отдохни…

И своим чудесным, чарующим голосом красавица тихо поёт:

Мы живём здесь без печали —
В тишине лесной…

Красавица, как будто в забытьи, то откидывает свои тёмные волосы, то снова бросает их на себя. Она манит, зовёт Любивого. Она издали обжигает его своими блестящими, огневыми очами и влечёт неотступно. Она говорит:

— Отдохнёшь, освежишься и с обновлёнными силами снова пустишься в путь — бодр и весел.

Не помня себя, Любивый уже готов сделать шаг к красавице, но вовремя вспоминает он зловещие слова старухи, отворачивается и, махнув рукой, идёт вперёд.

Идёт он, идёт и вдруг видит: сидит под деревом, пригорюнившись, молодая девушка и такая грустная, такая печальная, что, кажется, зверь лютый пожалел бы её, самая кровожадная тигрица с материнской нежностью поласкала бы своею лапой её поникшую головку. Сидит девушка, опёршись на колени руками, и тихо плачет… На ней чёрное траурное платье, застёгнутое наглухо, и никаких украшений. Только в виде украшения распустились по плечам её мягкие белокурые волосы… Любивый слышит, как девушка всхлипывает.

— О чём ты, девушка, плачешь? — спрашивает он её, а у самого сердце надрывается от жалости.

Она вздрагивает при звуке его голоса, как бы не

заметив его прихода, и отнимает руки от своего разгоревшегося лица. Доверчиво смотрит она на Любивого своими голубыми глазами, полными слёз, — такими глазами, кажется, только ангелы смотрят на небесах.

— Как мне не плакать! — со вздохом говорит она. — Я — сирота. Нет у меня ни отца, ни матери и никого из родных на всём свете. Друга нет… Ох, тяжко-тяжко мне!.. Был у меня жених, вместе мы с ним росли, играли. Я думала: мы вместе и жизнь проживём. Как я его любила! Как любила! А он бросил меня, променял на богатство… Были у меня братья, пятеро таких же молодцов, как ты, — смелы были мои братья: оттого теперь их и нет со мной. Они поплыли в море спасать погибавших. Разразилась страшная буря… Они не спасли погибавших, да и сами теперь лежат на дне морском. Вот я и осталась одна, хожу в лесу, выхода не нахожу… А тёмная сила со всех сторон наступает на меня…

Слёзы застлали глаза девушки; её милая белокурая головка опять понурилась. Как железными тисками сжалось сердце у Любивого. «Бедная ты, бедная!» — вырвалось у него прямо из души. Невыразимо стало жаль ему одинокую, брошенную девушку… Сошёл он с тропинки, сел рядом с

девушкой и стал утешать её. Чем более смотрел он на неё, тем она казалась ему лучше, милее.

— Не плачь! — говорил он ей с участием. — Осуши слёзы, посмотри веселее на белый свет, улыбнись приветно! Раны всякие залечиваются, время исцеляет и великое горе… Не плачь! Ну, не плачь же!

Так он говорил нежно, ласково…

— Ты — добрый человек! — промолвила девушка. — Не гони же меня от себя, я всюду пойду с тобою! Станем делить и радость и горе, станем вместе бороться с силой лесной… Согласен?

Любивый взял крепко девушку за руку, наклонился и поцеловал её.

— О да! Согласен! — в восторге шептал он, позабыв слова старухи о том, что не мечом, а тонким голосом снимут с него голову. — Теперь, — говорил он, — мы пойдём с тобой рука об руку через этот тёмный лес смело, бодро, весело. Теперь мы не будем унывать.

Как в чаду похмелья, закружилась голова у доброго молодца. Прошло ни много ни мало времени, очнулся он. Девушки-друга, верного спутника, как не бывало! А Любивый, вместо неё, обнимал серый, мшистый пень старой берёзы… Тут он догадался, что сердце ввело его в обман, что его

верная спутница была лишь одно лживое видение… Вокруг него, как тёмные тени, толпились высокие деревья, грозно, зловеще помахивая над ним ветвями, словно желая промолвить: «Теперь ты наш — и навсегда!» Они со всех сторон протягивали над ним, как над своею жертвой, толстые, сучковатые ветви, как длинные, цепкие руки, словно собирались схватить его и удержать. И удержали… Куда он ни шёл, от деревьев не мог уйти, не мог убежать от их ветвей, тянувшихся за ним. Они его ловили на каждом шагу, цеплялись за его одежду, хватали за руки, за плечи и страшным явственным шёпотом говорили: «Стой! не уйдёшь!..» И в то же время густая, ползучая трава ему ноги опутывала, и он напрасно бился в ней, как в зелёных сетях, украшенных цветами.

Сгинул Любивый…

* * *

Ждала-пождала нищая братия своего удалого молодца, не дождалась; догадалась, что, видно, напрасно пропадают силы богатырские в том проклятом лесу.

— Кто ни пойдёт, никто не возвращается… Что за чудо! — рассуждали люди. — То ли не силён был у нас Трусивый, то ли не смел был Любивый!

Какого же ещё надо!

— Не на таковских, видно, мы попадаем! — молвил один оборванный мудрец. — Давайте-ка бросим жребий! Это будет вернее.

Сказано — сделано.

Созвали всех людей оборванных, холодных и голодных, бросили жребий. Упал жребий на Ваню — мальчугана по десятому году. Все диву дались, но никто не прекословил… Ванина мать слезами обливалась, но не удерживала своё детище, пустила его на все четыре стороны ради мирского дела. Плача, она говорила:

— Ступай, Ваня! Послужи миру верой и правдой! Не для того я тебя на свет родила, чтобы тебе на печке лежать… Иди, потрудись!

Плачет, а сама сына в путь снаряжает. Целует, милует, а сама отталкивает: Иди! Уходи!..

Сколько палок Ване ни давали, все ему оказывались не под силу. Сорвал Ваня голубой цветочек в поле и отправился в путь.

— Прости, дитятко! — стонала мать. — Ты, может быть, проведаешь о нашем кладе, да меня-то в живых не застанешь, ко мне на могилу придёшь…

А Ваня идёт — ушёл. Вошёл он в лес и прямо — к избушке: стук-стук!

— Коли есть душа живая, откликнись! — вскричал Ваня.

Выглянуло в оконце сморщенное старушечье лицо.

— Как тут у вас пройти к баушке, что живёт на свете триста лет и три года? — храбро спросил её Ваня-Юныш.

— Где же тебе дойти туда! — прошамкала старуха. — Путь дальний и опасный… Страшилища окружат тебя… А сойдёшь с тропинки — и пропал: ни к баушке не дойдёшь, ни домой не возвратишься! Пропадёшь, как червь…

— Не стращай! Дорогу-то только укажи… — проговорил Ваня.

Старуха молча указала на заросшую тропу. Ваня сказал «спасибо» и пошёл.

Напали на него страшилища ужасные, завыли, закружились кругом него, не дают прохода, визжат, скалят зубы, словно съесть хотят. Ваня нахмурил брови, махнул цветочком и смело двинулся вперёд. Страшилища мигом исчезли, гробовое безмолвие воцарилось в лесу… Прошёл Ваня-Юныш ни много ни мало и видит: в стороне, неподалеку от дороги, стоит избушка, у избушки на завалинке старушка сидит, пряжу прядёт и не столько прядёт, сколько нитки рвёт. Увидала она

Ваню и зовёт к себе.

— Куда ты один идёшь, Ваня? — ласково говорила старушка. — Ступай-ка лучше ко мне, будешь ты у меня за сына любимого… Я тебя накормлю, напою и одену, и обую. Жить тебе будет привольно. И мне-то веселее… Видишь: я — одна-одинёхонька в этой лесной глуши. Иди, голубчик!.. Дорогой-то ещё, пожалуй, тебя обидят. Мало ли что может случиться! Змея ужалит, волк закусит, разбойники могут напасть… Жаль мне тебя, малого!

Уговаривала, уговаривала старушка — напрасно. Напрасно жалостливо покачивала она головой: не могла она сманить Ваню… Он всё своё твердит: «Нет! мне к баушке нужно»… — и ушёл.

Идёт Ваня — то песенку запоёт, то вспомнит о матери, о своей братии нищей и думает: как ужо он обрадует их, когда из леса возвратится здоров и невредим, принесёт ответ от старой бабушки, — и вдруг он, Ваня-Юныш, откроет большим и умным людям заветную тайну… Смотрит Ваня: сидит под деревьями молодица, такая красивая, такая добрая с виду, и на коленях у неё разложены всякие сласти: конфеты, печенья, пряники заморские, орехи и всякая всячина. Молодица подзывает к себе Ваню и ласково-приветливо улыбается.

— Иди сюда! Отдохни! Гостинцев дам! — говорит она, протягивая ему кисть сочного винограда. — Ведь ты устал, бедняга! Пить-есть тебе хочется… Вот булка сдобная, вот пирог! Кушай на здоровье, сколько хочешь, досыта…

Правда, Ваня устал и пить и есть ему хочется до смерти, пристально смотрит он на пирог и на лакомства. Пересохло во рту… Хоть бы одну ягодку в рот положить! Всё же полегче бы стало…

— Нельзя мне с тропинки сворачивать! — говорит он, невольно оглядываясь на ласковую молодицу.

А та манит его к себе, показывает ему гостинцы один другого лучше… Ваня ушёл.

Порой Ване грустно становилось, брало его раздумье о том, что он, пожалуй, заблудится в этом тёмном, дремучем лесу, не видать ему своей братии нищей, не застать ему матери в живых. Вдруг Ваня слышит вблизи весёлые крики, смех и хохот. Смотрит: на лужайке дети играют — бегают, ловят друг друга, обручи катают, мячи перебрасывают, прячутся за кустами, аукаются. Весело детям, зовут они Ваню играть, показывают ему игрушки. И что же это за игрушки! Таких игрушек Ване и во сне не снилось… Большие нарядные куклы-барышни «на пружинах» сами

по лугу ходят, раскланиваются, головками кивают. Ручки у них лайковые, головки фарфоровые, розовые щёки, блестящие, но безжизненные глаза, — словом, как настоящие, живые барышни. И тут же игрушечные лошади, собачки, барашки, колясочки. Целые города выстроены. По луже корабли плавают, а на берегу лужи крепость выстроена, и перед крепостью картонный генерал потешно командует картонными солдатиками… Остановился Ваня, глаза у него разбежались. Очень захотелось ему посмотреть вблизи на эти игрушки, но вспомнил о братьях и, махнув цветочком, пошёл далее.

Идёт Ваня, но песенок уже не поёт, шибко закручинился. Дремота нападает на него, жажда томит его нестерпимо, голод мучит, усталость одолевает… Вдруг встречается ему старик. Длинная седая борода у старика спускается за пояс; чёрная змея у него на плечах извивается. Старик опирается на костыль и всё смотрит в далёкое небо своими тусклыми очами.

— Как мне пройти, старичок, к баушке, что посреди леса живёт? — спросил его Ваня.

— Дойдёшь ты скоро до такого места, где три тропинки в разные стороны расходятся… — ответил старец, смотря на небо и поглаживая свою

серебристую бороду, между тем как змея у него на плече ворочалась и шипела. — Одна тропинка идёт прямо, другая — вправо, третья — влево. Ты иди прямо! Выйдешь ты на полянку и увидишь на той полянке избушку с красным оконцем… В ней-то баушка и живёт.

Ваня простился со стариком и отправился далее.

Прошло ни много ни мало времени. Выходит Ваня на полянку и видит избушку с красным оконцем; на её крыше — на самом коньке — сидел чёрный ворон и каркал прямо на восток. Густые деревья окружали избушку своею зелёною тенью. Войдя в избушку, Ваня увидел на лавке старуху, старую-престарую. Рядом с ней на лавке сидел белый кот и пел свои песни. На жёрдочке, протянутой над головой старухи, висели какие-то сухие травы и цветы, и тут же сова сидела, вытаращив свои большие круглые глаза.

— Откуда и кто ты такой есть? — спросила Ваню старуха.

— Я — посланец к тебе от нищей братии! — ответил он, спокойно усаживаясь рядом с баушкой и с её белым котом.

— Что же тебе от меня надо? — продолжала старуха, брюзгливо посматривая на него.

— Сначала, баушка, дай мне помыться, накорми, напои меня, дай выспаться, а потом я и поведу с тобой речь… — сказал Ваня.

Но не вдруг сладил он со старухой. На каждом шагу она ему перечила… Попросил он у баушки помыться, принесла она ему в корыте воды со льдом. Ваня сказал, что в ледяной воде он не моется, тогда старуха притащила ему кипятку. Наконец, когда Ваня сильно нахмурился, она затопила баню. Вымылся Ваня отлично мылами пахучими, цветочным веником попарился… Когда после того Ваня попросил есть, старуха принесла ему чёрствый, сухой хлеб, совершенно чёрный, сожжённый в уголь, потом принесла щей горьких — горче полыни. Наконец-то уж Ваня добился у неё всяких вкусных кушаний и даже целого блюда сластей… Ваня повеселел, распоясался и попросил пить. Старуха принесла ему в ковшике мутной водицы. Ваня, не говоря ни слова, выплеснул её за окно. Потом она принесла какого-то кислого квасу — кислее уксуса. Но Ваня добился своего: принесла-таки ему старуха чару мёда сладкого.

— Теперь бы ещё поспать надо! Постели-ка мне постель, баушка! — сказал Ваня и стал разоболокаться.

Старуха принесла ему осиновую плаху; потом вытащила откуда-то дырявый, грязный и пыльный половик и бросила на пол, у самой двери. Ваня опять нахмурился. Тут уж старуха постлала ему в переднем углу мягкую постель, белой простынкой накрыла, положила пуховую подушечку и шёлковое одеяльце. Выспался Ваня на славу и, выспавшись, рассказал старухе своё дело.

— Вот я пришёл к тебе, баушка, узнать, — закончил Ваня, — что могло быть у нищей братии и что нужно сделать для того, чтобы несчастные себе счастье завоевали?

— А Разрыв-трава у вас есть? — строго спросила баушка.

— Такой травы, кажется, у нас нет! Не слыхал что-то… — сказал Ваня, подумав и качнув головой.

— Как же вы хотите без Разрыв-травы обойтись? — нахмурив брови, промолвила старуха. — Будете вы без неё пытаться, да всё неладно… Ну, слушай же теперь, запомни всё толком и передай *своим*… — сказала старуха и начала своё повествование:

«Давно-давно жили на свете злые разбойники. Перед смертью злые разбойники зарыли в землю свой великий клад. Одна великая волшебница

видела, как разбойники зарывали в землю свой клад, и положила на этот клад своё заклятье. «Клад скоплен не добром, скоплен от крох, от слёз и крови людской, к обобранным людям он и перейти должен! Пусть он пока остаётся на земле! Когда люди завладеют Разрыв-травой, тогда клад достанется им!..»

— Вот, мальчуга, так и скажи своим! — закончила баушка своё повествование. — Скажи: клад у них под ногами лежит в земле, они ходят по нём. Видеть его можно, а вытащить трудно. Скажи, если отыщут скоро Разрыв-траву — ладно, не отыщут — пусть пеняют сами на себя, придётся подождать! Скажи: когда станут вырывать клад, чтобы каждый из них носил на груди, ближе к сердцу, эту Разрыв-траву. Но скажи им ещё: клад с каждым днём уходит в землю всё глубже и глубже… Ну, теперь прощай! Спать хочу.

Сказала и полезла на печь. А белый кот по-прежнему сидел на лавке и мурлыкал какую-то загадочную песенку. Сова по-прежнему таращила свои круглые оловянные глаза.

Попрощался Ваня со старухой и отправился в обратный путь. Но из леса он выходил не так бодро, как входил в него. В ногах его чувствовалась слабость, руки дрожали, спина побаливала,

словно была палками отколочена, и его спутник — цветочек, сорванный им в поле перед отходом в лес, завял и облетел, — остался от него один стебелёк. Идёт Ваня потихоньку — шатается, пойдёт поскорее — за кочки, за корни дерев запинается, чуть не падает. Он стал худо видеть: в глазах точно туман стоит. Подошёл Ваня к тихому ручью напиться, поосвежить свою голову. Голубая речка в зелёных, цветущих берегах казалась зеркалом в изумрудной оправе. Наклонился Ваня, заглянул в спокойную воду и сам не поверил своим глазам, взглянул ещё раз попристальнее, пониже склонился над водой… Вода чиста, невозмутима; полуденное солнце ярко светит с безоблачных небес, — и Ваня сознаёт, что он не спит, не грезит, а живёт наяву. И всё-таки ему как-то не верится… В воде, как в ясном зеркале, увидел он своё лицо — сухое, жёлтое, всё в глубоких морщинах, увидел тусклые, угасшие глаза, увидел на голове, вместо своих кудрей, седые пряди, увидел седую бороду… Где же его молодые, блестящие глаза, где его румяные щёки, его беззаботная улыбка, где Ваня-Юныш? Ваня успел состариться… Долго же, значит, он пробыл в заповедном лесу.

* * *

Радостно встретила Ваню нищая братия. «Первый-то из трёх посланцев выбрался, наконец, из проклятого леса!..» Ванины сверстники за это время также стариками стали, а из тех стариков, что провожали его, остался в живых один, да и тот, кажется, уж не вполне сознавал: живёт ли он.

Насилу отыскал Ваня могилу матери, припал к ней головушкой, словно хотел услышать: что происходит в могиле.

— Родина моя! — шептал он с любовью. — Не привелось нам увидеться! Всю жизнь проблуждал я в тёмном лесу, боролся с лесными страшилищами, всю молодость свою убил в скитаниях тяжких… Твою заповедь сын твой исполнил: он узнал великую тайну о кладе и откроет её своим бедным братьям.

Так говорил он. А могила молчала, только густая, зелёная трава на ней по ветру наклонялась. Почти рядом с могилой матери нашёл Ваня и могилу той, которую прочили ему в невесты. Провожая, она просила Ваню принести ей из леса цветов. Он принёс их и бросил на могилу.

— Жених твой сделал своё дело! — молвил он, склонившись над зеленеющим бугром. — Спи,

моя прекрасная невеста! Твой жених счастье с тобою променял на тяжёлое дело… но он верен остался тебе, не променял он тебя на те блестящие, лживые видения, что мерещились ему в лесу…

Явился Ваня на сходку — отдавать миру отчёт. Оказалось, что Разрыв-травы ни у кого не было. Братия приуныла, но всё-таки пожелала достойно отпраздновать возвращение Вани и устроила пир… Не на мягких ложах утопали пирующие, — лежали они на голой земле; не ясное небо синело у них над головой, — низко ходили над ними тёмные, грозовые тучи; не музыка гремела на том пиру, — сердитый, порывистый ветер свистал и шумел кругом, по опустевшим, молчаливым рощам и лугам, утопавшим в тумане; не цветущие и весёлые девы забавляли пирующих, а ходили между ними какие-то бледные привидения. Не мёд пили на том пиру, но воду ключевую, не белым калачом закусывали, но чёрствою коркой; не весёлые песни пели, сидели и пели песни заунывные. И на председателе пира красовался венок не из пахучих, роскошных цветов, а из колючего терния…

Стали искать Разрыв-траву, искал и старый и малый, насилу нашли несколько пучков. Сто

человек добыли эту траву и носили её на груди, у сердца; остальная же братия осталась без Разрыв-травы. «Ведь баушка сказала: без Разрыв-травы нельзя взять клад, но найти его можно и без неё, ведь он тут же, у всех под ногами лежит; ведь по нём почти ходят… А разве попытаться? Благо, сто человек заручились Разрыв-травой»… Так рассудила нищая братия.

Принялись рыть. А клад-то оказался уж очень глубоко. Рыли-рыли, не одну сотню лет рыли, наконец, дорылись кое-как. Немного открыли клад, — и видят: злато и серебро, и каменья самоцветные. Всё недро земли словно жар горит. Но все эти драгоценности сплавились в одну сплошную громадную массу, и эта масса пластом залегла по всей земле — от края до края. Ясное дело, что нужна была великая сила для того, чтобы поднять этот глубоко зарывшийся громадный и тяжёлый клад. Тяжёл был клад, трудно было поднять его. Ведь Разрыв-трава оказалась только у сотни человек, а остальной народ пришёл с пустыми руками. Как же быть? «Надо попытаться! — сказали люди. Все помнили, что клад, по словам баушки, с каждым днём уходит глубже в землю. — Если не поднимем сегодня, завтра будет ещё труднее!..» Решили и взялись за один

конец клада, стали поднимать. Тогда вдруг солнце померкло, и от земли до самых далёких звезд встали на небе страшные тени злых разбойников. Едва лишь тронули клад, тени разрослись в чёрные тучи и омрачили всё небо. Разразилась гроза, загрохотал гром. Поднялось страшное землетрясение… Толстые, вековые стены, поросшие мохом, разваливались, старинные здания разрушались; горы дали трещины, море разбушевалось… Так люди и не могли достать клад.

Но голь не унывает. Нужно найти более Разрыв-травы; нужно, чтобы каждому досталось по стеблю этой заповедной травы; нужно, чтобы каждый носил её на сердце. Идут дни, годы… Осенью лист на деревьях желтеет и опадает, зимой снежною белою пеленой покрывается земля, весной цветы расцветают, облака плывут по небу, тают и исчезают, цветы облетают, люди рождаются и умирают, — и всё идёт своим чередом. А люди собирают Разрыв-травы всё более и более, всё ждут, надеются и верят в то, что долго ли, коротко ли они достанут клад.

Всеволод Михайлович Гаршин (1855–1888)

Сказка о жабе и розе

Жили на свете роза и жаба.

Розовый куст, на котором расцвела роза, рос в небольшом полукруглом цветнике перед деревенским домом. Цветник был очень запущен; сорные травы густо разрослись по старым, вросшим в землю клумбам и по дорожкам, которых уже давно никто не чистил и не посыпал песком. Деревянная решётка с колышками, обделанными в виде четырёхгранных пик, когда-то выкрашенная зелёной масляной краской, теперь совсем облезла, рассохлась и развалилась; пики растащили для игры в солдаты деревенские мальчики и, чтобы отбиваться от сердитого барбоса с компаниею прочих собак, подходившие к дому мужики.

А цветник от этого разрушения стал нисколько не хуже. Остатки решётки заплели хмель, повилика с крупными белыми цветами и мышиный горошек, висевший целыми бледно-зелёными кучками, с разбросанными кое-где бледно-лиловыми кисточками цветов. Колючие чертополохи на жирной и влажной почве цветника (вокруг него был большой тенистый сад) достигали та-

ких больших размеров, что казались чуть не деревьями. Жёлтые коровяки подымали свои усаженные цветами стрелки ещё выше их. Крапива занимала целый угол цветника; она, конечно, жглась, но можно было и издали любоваться её тёмною зеленью, особенно когда эта зелень служила фоном для нежного и роскошного бледного цветка розы.

Она распустилась в хорошее майское утро; когда она раскрывала свои лепестки, улетавшая утренняя роса оставила на них несколько чистых, прозрачных слезинок. Роза точно плакала. Но вокруг неё всё было так хорошо, так чисто и ясно в это прекрасное утро, когда она в первый раз увидела голубое небо и почувствовала свежий утренний ветерок и лучи сиявшего солнца, проникавшего её тонкие лепестки розовым светом; в цветнике было так мирно и спокойно, что если бы она могла в самом деле плакать, то не от горя, а от счастья жить. Она не могла говорить; она могла только, склонив свою головку, разливать вокруг себя тонкий и свежий запах, и этот запах был её словами, слезами и молитвой.

А внизу, между корнями куста, на сырой земле, как будто прилипнув к ней плоским брюхом, сидела довольно жирная старая жаба, которая

проохотилась целую ночь за червяками и мошками и под утро уселась отдыхать от трудов, выбрав местечко потенистее и посырее. Она сидела, закрыв перепонками свои жабьи глаза, и едва заметно дышала, раздувая грязно-серые бородавчатые и липкие бока и отставив одну безобразную лапу в сторону: ей было лень подвинуть её к брюху. Она не радовалась ни утру, ни солнцу, ни хорошей погоде; она уже наелась и собралась отдыхать.

Но когда ветерок на минуту стихал и запах розы не уносился в сторону, жаба чувствовала его, это причиняло ей смутное беспокойство; однако она долго ленилась посмотреть, откуда несётся этот запах.

В цветник, где росла роза и где сидела жаба, уже давно никто не ходил. Ещё в прошлом году осенью, в тот самый день, когда жаба, отыскав себе хорошую щель под одним из камней фундамента дома, собиралась залезть туда на зимнюю спячку, в цветник в последний раз зашёл маленький мальчик, который целое лето сидел в нём каждый ясный день под окном дома. Взрослая девушка, его сестра, сидела у окна; она читала книгу или шила что-нибудь и изредка поглядывала на брата. Он был маленький мальчик лет

семи, с большими глазами и большой головой на худеньком теле. Он очень любил свой цветник (это был его цветник, потому что, кроме него, почти никто не ходил в это заброшенное местечко) и, придя в него, садился на солнышке, на старую деревянную скамейку, стоявшую на сухой песчаной дорожке, уцелевшей около самого дома, потому что *по* ней ходили закрывать ставни, и начинал читать принесённую с собой книжку.

— Вася, хочешь, я тебе брошу мячик? — спрашивает из окна сестра. — Может быть, ты с ним побегаешь?

— Нет, Маша, я лучше так, с книжкой.

И он сидел долго и читал. А когда ему надоедало читать о Робинзонах, и диких странах, и морских разбойниках, он оставлял раскрытую книжку и забирался в чащу цветника. Тут ему был знаком каждый куст и чуть ли не каждый стебель. Он садился на корточки перед толстым, окружённым мохнатыми беловатыми листьями стеблем коровяка, который был втрое выше его, и подолгу смотрел, как муравьиный народ бегает вверх к своим коровам — травяным тлям, как муравей деликатно трогает тонкие трубочки, торчащие у тлей на спине, и подбирает чистые капельки сладкой жидкости, показывавшиеся на кончиках

трубочек. Он смотрел, как навозный жук хлопотливо и усердно тащит куда-то свой шар, как паук, раскинув хитрую радужную сеть, сторожит мух, как ящерица, раскрыв тупую мордочку, сидит на солнце, блестя зелёными щитиками своей спины; а один раз, под вечер, он увидел живого ежа! Тут и он не мог удержаться от радости и чуть было не закричал и не захлопал руками, но, боясь спугнуть колючего зверька, притаил дыхание и, широко раскрыв счастливые глаза, в восторге смотрел, как тот, фыркая, обнюхивал своим свиным рыльцем корни розового куста, ища между ними червей, и смешно перебирал толстенькими лапами, похожими на медвежьи.

— Вася, милый, иди домой, сыро становится, — громко сказала сестра.

И ёжик, испугавшись человеческого голоса, живо надвинул себе на лоб и на задние лапы колючую шубу и превратился в шар. Мальчик тихонько коснулся его колючек; зверёк ещё больше съёжился и глухо и торопливо запыхтел, как маленькая паровая машина.

Потом он немного познакомился с этим ёжиком. Он был такой слабый, тихий и кроткий мальчик, что даже разная звериная мелкота как будто понимала это и скоро привыкала к нему.

Какая была радость, когда ёж попробовал молока из принесённого хозяином цветника блюдечка!

В эту весну мальчик не мог выйти в свой любимый уголок. По-прежнему около него сидела сестра, но уже не у окна, а у его постели; она читала книгу, но не для себя, а вслух ему, потому что ему было трудно поднять свою исхудалую голову с белых подушек и трудно держать в тощих руках даже самый маленький томик, да и глаза его скоро утомлялись от чтения. Должно быть, он уже больше никогда не выйдет в свой любимый уголок.

— Маша! — вдруг шепчет он сестре.

— Что, милый?

— Что, в садике теперь хорошо? Розы расцвели?

Сестра наклоняется, целует его в бледную щёку и при этом незаметно стирает слезинку.

— Хорошо, голубчик, очень хорошо. И розы расцвели. Вот в понедельник мы пойдём туда вместе. Доктор позволит тебе выйти.

Мальчик не отвечает и глубоко вздыхает. Сестра начинает снова читать.

— Уже будет. Я устал. Я лучше посплю.

Сестра поправила ему подушки и белое одеяльце; он с трудом повернулся к стенке и замолчал.

Солнце светило сквозь окно, выходившее на цветник, и кидало яркие лучи на постель и на лежавшее на ней маленькое тельце, освещая подушки и одеяло и золотя коротко остриженные волосы и худенькую шею ребёнка.

Роза ничего этого не знала; она росла и красовалась; на другой день она должна была распуститься полным цветом, а на третий начать вянуть и осыпаться. Вот и вся розовая жизнь! Но и в эту короткую жизнь ей довелось испытать немало страха и горя.

Её заметила жаба.

Когда она в первый раз увидела цветок своими злыми и безобразными глазами, что-то странное зашевелилось в жабьем сердце. Она не могла оторваться от нежных розовых лепестков и всё смотрела и смотрела. Ей очень понравилась роза, она чувствовала желание быть поближе к такому душистому и прекрасному созданию. И чтобы выразить свои нежные чувства, она не придумала ничего лучше таких слов:

— Постой, — прохрипела она, — я тебя слопаю!

Роза содрогнулась. Зачем она была прикреплена к своему стебельку? Вольные птички, щебетавшие вокруг неё, перепрыгивали и перелетали с ветки на ветку; иногда они уносились

куда-то далеко, куда — не знала роза. Бабочки тоже были свободны. Как она завидовала им! Будь она такою, как они, она вспорхнула бы и улетела от злых глаз, преследовавших её своим пристальным взглядом. Роза не знала, что жабы подстерегают иногда и бабочек.

— Я тебя слопаю! — повторила жаба, стараясь говорить как можно нежнее, что выходило ещё ужаснее, и переползла поближе к розе.

— Я тебя слопаю! — повторяла она, всё глядя на цветок. И бледное создание с ужасом увидело, как скверные липкие лапы цепляются за ветки куста, на котором она росла. Однако жабе лезть было трудно: её плоское тело могло свободно ползать и прыгать только по ровному месту. После каждого усилия она глядела вверх, где качался цветок, и роза замирала.

— Господи! — молилась она. — Хоть бы умереть другою смертью!

А жаба всё карабкалась выше. Но там, где кончались старые стволы и начинались молодые ветви, ей пришлось немного пострадать. Тёмно-зелёная гладкая кора розового куста была вся усажена острыми и крепкими шипами. Жаба переколола себе о них лапы и брюхо и, окровавленная, свалилась на землю. Она с ненавистью

посмотрела на цветок…

— Я сказала, что я тебя слопаю! — повторила она.

Наступил вечер; нужно было подумать об ужине, и раненая жаба поплелась подстерегать неосторожных насекомых. Злость не помешала ей набить себе живот, как всегда; её царапины были не очень опасны, и она решилась, отдохнув, снова добираться до привлекавшего её и ненавистного ей цветка.

Она отдыхала довольно долго. Наступило утро, прошёл полдень, роза почти забыла о своём враге. Она совсем уже распустилась и была самым красивым созданием в цветнике. Некому было прийти полюбоваться ею: маленький хозяин неподвижно лежал на своей постельке, сестра не отходила от него и не показывалась у окна. Только птицы и бабочки сновали около розы да пчёлы, жужжа, садились иногда в её раскрытый венчик и вылетали оттуда, совсем косматые от жёлтой цветочной пыли. Прилетел соловей, забрался в розовый куст и запел свою песню. Как она была не похожа на хрипение жабы! Роза слушала эту песню и была счастлива: ей казалось, что соловей поёт для неё, а может быть, это была и правда. Она не видела, как её враг незаметно

взбирался на ветки. На этот раз жаба уже не жалела ни лапок, ни брюха: кровь покрывала её, но она храбро лезла всё вверх — и вдруг, среди звонкого и нежного рокота соловья, роза услышала знакомое хрипение:

— Я сказала, что слопаю, и слопаю!

Жабьи глаза пристально смотрели на неё с соседней ветки. Злому животному оставалось только одно движение, чтобы схватить цветок. Роза поняла, что погибает…

Маленький хозяин уже давно неподвижно лежал на постели. Сестра, сидевшая у изголовья в кресле, думала, что он спит. На коленях у неё лежала развёрнутая книга, но она не читала её. Понемногу её усталая голова склонилась: бедная девушка не спала несколько ночей, не отходя от больного брата, и теперь слегка задремала.

— Маша, — вдруг прошептал он.

Сестра встрепенулась. Ей приснилось, что она сидит у окна, что маленький брат играет, как в прошлом году, в цветнике и зовет её. Открыв глаза и увидев его в постели, худого и слабого, она тяжело вздохнула.

— Что, милый?

— Маша, ты мне сказала, что розы расцвели! Можно мне… одну?

— Можно, голубчик, можно! — Она подошла к окну и посмотрела на куст. Там росла одна, но очень пышная роза.

— Как раз для тебя распустилась роза, и какая славная! Поставить тебе её сюда на столик в стакане? Да?

— Да, на столик. Мне хочется.

Девушка взяла ножницы и вышла в сад. Она давно уже не выходила из комнаты; солнце ослепило её, и от свежего воздуха у неё слегка закружилась голова. Она подошла к кусту в то самое мгновение, когда жаба хотела схватить цветок.

— Ах, какая гадость! — вскрикнула она. И, схватив ветку, она сильно тряхнула её: жаба свалилась на землю и шлёпнулась брюхом. В ярости она было прыгнула на девушку, но не могла подскочить выше края платья и тотчас далеко отлетела, отброшенная носком башмака. Она не посмела попробовать ещё раз и только издали видела, как девушка осторожно срезала цветок и понесла его в комнату.

Когда мальчик увидел сестру с цветком в руке, то в первый раз после долгого времени слабо улыбнулся и с трудом сделал движение худенькой рукой.

— Дай её мне, — прошептал он. — Я понюхаю.

Сестра вложила стебелёк ему в руку и помогла подвинуть её к лицу. Он вдыхал в себя нежный запах и, счастливо улыбаясь, прошептал:

— Ах, как хорошо…

Потом его личико сделалось серьёзным и неподвижным, и он замолчал… навсегда.

Роза, хотя и была срезана прежде, чем начала осыпаться, чувствовала, что её срезали недаром. Её поставили в отдельном бокале у маленького гробика. Тут были целые букеты и других цветов, но на них, по правде сказать, никто не обращал внимания, а розу молодая девушка, когда ставила её на стол, поднесла к губам и поцеловала. Маленькая слезинка упала с её щеки на цветок, и это было самым лучшим происшествием в жизни розы. Когда она начала вянуть, её положили в толстую старую книгу и высушили, а потом, уже через много лет, подарили мне. Потому-то я и знаю всю эту историю.

Василий Иванович Немирович-Данченко
(1844–1936)

Засыпанный колодец

I

Как ураган в пустыне — шёл завоеватель. Ужас охватывал всё перед ним. Безлюдели деревни и города… Запирались воины в каменные стены. Он жёг дворцы и разрушал крепости. Пощады не знало его сердце. В бешеном неистовстве он говорил: «Я бич в руке Божьей». Позади оставались пустыри, безлюдье, пожарища… Следом за ним неслась моровая язва: чего не докончил его меч, то добавила она… За нею уж не было ничего… Жизнь прекращалась; царство смерти раскидывалось в необъятный простор. В руинах жили только змеи и ящерицы… Вырубленные сады и истоптанные поля заносило песками. Под солнцем белели кости… Над ним в лунные ночи носились призраки и видения, и даже сам грозный Азраил, пролетая в небесах, чёрным крылом своим закрывал от себя печальное зрелище этого края…

II

И настоящая пустыня не остановила завоевателя… Что ему было до воинов, умиравших от жажды и голода в её песках! Под вечер он разбивал свой шатёр под пальмами мирных оазисов. Для него в них было достаточно воды!.. Он слушал, как пели птицы в их вееровидных венцах, смотрел, как полымя заката мерцало в них золотистым сиянием… Жалобно роптал на него ключ, — и ему ведь грозила смерть. Его жадно выпивало грозное войско, и нужны были целые годы, чтобы народились и просочились новые струи, столетия, чтобы выросли молодые пальмы взамен срубленных и сожжённых в кострах… Ночью небесные звёзды смигивали светлые слезинки, плача над несчастным жребием земли… Но какое дело завоевателю было до этих очей далёкого неба!.. Они совершали свои пути, — он шёл тоже своею дорогой…

III

И оазисы окончились. Их уже не было больше. Шатёр завоевателя рабы раскинули над колодцем. В незапамятную старь какие-то шейхи долго

рыли его… Они знали, что не им придётся пить его живоносную влагу; но им было ведомо тоже, что ничто доброе не пропадает и только зло уходит бесследно из мира… Дети их окончили это, и вода, внезапно наполнившая чёрную нору, с тех пор служила целым поколениям измученных путников… Тысячелетие прошло, — и каждый день слышались благословения тем, кто напоил жаждущих в пустыне. И души великих шейхов, как на крылах, всё выше и выше поднимались этими благословениями в самое седьмое небо, к вечному престолу Аллаха. Но что за дело было завоевателю до жалкого человечества. Ему надо было победить пустыню. Рабы его и воины могли вернуться и покинуть его. Её солнце уже пугало их. Он утром приказал засыпать и сровнять с землёю колодец. «Здесь ждёт вас отныне смерть, — сказал он им, — а там победа и слава; куда я — туда и вы пойдёте за мной…»

IV

И они пошли за ним. Но мера беззаконий его исполнилась… Ему навстречу понёсся ещё более грозный Хамсин, точно завесу от земли до неба поднимая перед собою пески горячей пустыни… Отблесками мечей небесной рати сверкали в

них тысячи молний. Негодующее небо в один гневный крик сливалось с дрожавшею от горя землёй… Наступало возмездие, и завоеватель понял это. С презрением взглянул он на потерявшееся стадо своих невольников. Ему и умирать неприлично было с ними. Он сел на лучшего своего коня и понёсся навстречу Хамсину… «Я не могу победить тебя, но я не складываю меча перед тобою!» — гордо кричал он ему в самые недра бури, где ему чудился красный, словно раскалившийся и полымем дышавший на всю эту пустыню, громадный лик ангела, в руки которого Господь положил управление стихиями земли… И ангел дунул на него, и завоевателя, как пушинку, снесло прочь… Он завернулся в плащ и лицом в землю умер… Завеса песков нагнала испуганных рабов и схоронила их… Никто не может указать, где их могилы… Ни славы, ни воспоминания!..

V

На чёрных крылах своих Азраил понёс душу владыки к престолу Суда… Тёмным вихрем стремились вслед призраки убитых им людей… Из бесконечных далей спешили они свидетельствовать о нём. Из-за тёплых и холодных морей,

из-за степей, весною покрывающихся зеленью, из-за гор, где положены пределы земли и начало небу, как бесчисленные пчелиные рои, подымались они вслед завоевателю… В первую же ночь над пожарищами и руинами не показывалось страшных фантомов… Все-все должны были стать перед недавним владыкою у подножия Аллаха. Все-все… Их видела преступная душа и ни разу не содрогнулась. Гордость пережила самую смерть, и теперь, казалось, сбросив тело и страсти, владыка ещё грозил своим жертвам. Вихрем они вились кругом, но не приближались к нему… Им было страшно. Они боялись его и теперь, уже бессильного сделать им зло… Вот в миллионах солнц, в стройном хоре бесчисленных светил, поддерживаемый мириадами лазурных крыл величайших серафимов, — престол Аллаха, и смятенно трепещущий ангел смерти сложил перед ним душу завоевателя.

VI

«Говорите!» — сказал Аллах, и убиенные начали свидетельствовать… Длинные свитки злодейств раскинулись от небес до земли. Рыдания наполнили вселенную… Чудом воскресшие города запылали, стали вновь падать расцветшие

сады… Бесконечные картины истребления одни сменялись другими… Дымом пожарищ окутало праведных, — даже солнца Аллахова престола потускнели в нём. Слышалось, как содрогается земля в своих недрах; стихийною бурею налетали стоны женщин, мучительные крики детей… Душа завоевателя видела, как миллионы призраков простирали к ней свои руки, как другие миллионы ожидали своей очереди в пространстве. Мечи опять стучали о мечи, дротики свистали в воздухе, сквозь свидетельство жертв прорывались воинственные восклицания боевых дружин… «Воистину, — изрёк Аллах, — земля доныне ещё не создавала подобного палача… Но чего же ждать от неё. На этой жалкой пылинке вселенной зло ещё торжествует, и добру не настало время одолеть его… На тебя, жалкий изверг низшего мира, тоже подымали мечи, — и ты им мечом платил за это. Ты стал сильнее других и истребил их… Будь они сильные, они бы убили тебя… Это я бы простил тебе… Но чья эта тихая жалоба?..»

VII

Тихая-тихая… Точно плач младенца… Будто ночью ропот струек, падающих в мраморный водоём… Странно тихая-тихая; но от неё вдруг за-

молкло свидетельство миллионов жертв, погасли чудом рыдания женщин… Вознесённые издавна к престолу Аллаха — добрые шейхи стали перед ним: «Эта жалоба засыпанного колодца, о, Справедливый… это его голос, о, Вечный…» И Аллах склонил свой слух… «Мы служили только добру, одному добру. Мы не спрашивали у жаждущего в пустыне: «Кто ты и достоин ли нас?» Мы поили его своими струями. Мы поили его стада потому, что ты, о, Милосердный, и им дал дыхание жизни… На этой злой земле мы целые века являли правду твою, и никто, прибегавший к нам, не уходил от нас обманувшимся в своей надежде. Нас щадил ангел бури, и Хамсин, пролетая мимо, не задевал нас огненными крыльями. Он знал тоже, что мы служим тебе в добре и вечной любви твоей… И вот пришёл человек, назвавшийся бичом твоим… Я напоил и его, исполненного злодеяний, его жестокости я открыл милость твою… Но он не научился ничему из этого… Он и меня убил, он и меня засыпал, — и теперь я, заключённый в самые недра горячей пустыни, молю тебя, о, грозный Аллах, яви правду свою…» Голос засыпанного колодца всё тише и тише звучал; но всё темнее становился лик Аллаха, и в ужасе перед ним закрывались тучами блистательные солнца

его престола, и мириады агентов опускали крылья над своими глазами.

VIII

«Жалкая тля жестокого мира… Ты называл себя бичом моим? Ты будешь им! Иди назад на землю; ты — отныне мой гнев. Ты посеешь чуму и соберёшь жатву чёрной смерти… Ты из самых недр ада вызовешь беспощадных демонов и укажешь им области, заслужившие кару мою. Во главе этих тёмных сил ты истребишь противящихся мне. Ты будешь топить корабли в океане и караваны в пустыне. Ты отторгнешь младенца от груди матери и мать отнимешь у беспомощного ребёнка. Ты в каждое слово любви бросишь своё змеиное жало и каждый светлый день омрачишь своею тенью. Ты — засуха и град, ты — наводнение и буря. Ты в тучах саранчи опустишься над благословенными полями и с бледными призраками голода войдёшь в обнищавшие города. Ты будешь лить кровь и сеять страдание, но с каждым шагом твоим ты всё будешь несчастнее и несчастнее…»

IX

«Иди и помни! Ты сам будешь, творя зло, ис-

пытывать муки всех твоих жертв — боль чумы и ужас чёрной смерти. Страх перед демонами, покорными тебе, и муки тех, кого они, по указанию твоему, погубят. Ты будешь утопать с пловцами и задыхаться в пустыне с пилигримами, гореть в огне тобою же зажжённых пожаров… Ты испытаешь горе матери сам и страдание младенца, оставленного ею. Твои змеиные жала будут жалить тебя самого, прежде чем они ужалят другого… Ты почувствуешь голод и холод и нигде не укроешься от бури… В твоём страдании, мой бич, сольются, как реки в море, боли, недуги и муки всей земли… Потому что нет гнева без страдания, — одно добро есть добро и полно само собою… Иди, мой бич, и искупи свои злодеяния, пока засыпанный тобою колодец не откроется вновь и не станет поить жаждущих!.. Азраил, сбрось его…»

И с стихийным криком ужаса, от которого содрогались проносившиеся мимо кометы, душа завоевателя низринулась на землю.

X

Века прошли за веками. Одно тысячелетие уже минуло, а бич Божий носится над сушею и океанами, и нет ему покоя, нет предела его страшной

муке. Над руинами поднялись новые города, сожжённые им сады сменились другими, уничтоженные царства воскресли с новыми владыками и старыми недугами. А в огненном кольце песков спалённый солнцем пустыни засыпанный колодец всё ещё спит, ревниво храня живую влагу… Всякий раз, как смелые люди пробивались к нему, — отовсюду слетались тысячи призраков и пугали тех и отгоняли от заветного места. Люди пробовали победить пустыню, одолевая её шаг за шагом. Они раздвигали свои поля и сады; они надеялись, что, в конце концов, всё знойное лицо её исчезнет под их насаждениями… Но опять подымались призраки убитых, взрывали недвижные пески и засыпали посевы и жатвы… И долго ещё будет спать в своей жаркой могиле заповедный колодец, и многие тысячелетия станет мучиться, творя зло, душа великого завоевателя…

XI

В далёкой стране, в солнечном краю Тафилета, у самых пределов великих африканских пустынь, под тёмным шатром своим рассказал мне эту сказку старый бербер… Верблюжий помёт курился у входа. Одинокая чахлая пальма клонилась к земле, точно у неё искала защиты от беспо-

щадного солнца. Откуда-то издалека слышалась печальная-печальная песня… Ночь не принесла прохлады… Земля, истомлённая зноем, горячо и тяжко дышала. Ярко сверкали чуждые мне созвездия — таинственные символы над вечным молчанием пустыни… Вдруг на самом краю её словно раскрылось чудовищное в полнеба огненное око и какой-то страшный мучительный голос раздался оттуда…

— Что это? — спросил я у номада, дремавшего около.

— Стонет душа великого завоевателя, уносясь куда-то творить определённое ей зло!..

Леонид Николаевич Андреев (1871–1919)

Рассказ змеи о том, как у неё появились ядовитые зубы

– Тише, тише, тише. Подвинься ближе. Смотри в глаза.

Я всегда была очаровательным существом, нежным, чувствительным и благодарным. И мудрым. И благородным. И таким гибким в извивах стройного тела, что тебе будет радостью взглянуть на тихую пляску мою: вот в кольца свернусь я, тускло блесну чешуёю, сама обовью себя с нежностью и в нежно-холодных объятиях умножу стальное тело. Одна во множестве! Одна во множестве!

Тише. Тише. Смотри в глаза.

Тебе не нравятся покачивания мои и мой прямой, открытый взгляд? Ах, тяжела голова моя, и оттого покачиваюсь я тихо. Ах, тяжела голова моя, и оттого смотрю я прямо, покачиваясь. *Подвинься ближе.* Дай мне тепла немного, погладь перстами мой мудрый лоб: в его прекрасных очертаниях найдёшь ты образ чаши, в которую стекает мудрость, роса ночных цветов. Когда извивами черчу я воздух, в нём остаётся след,

узор тончайшей паутины, сплетенье сонных чар, очарование бесшумного движения, неслышный свист скользящих линий. Молчу и качаюсь, смотрю и качаюсь — что за странную тяжесть ношу я на шее?

Я люблю тебя.

Я всегда была очаровательным существом и любила нежно тех, кого любила. *Подвинься ближе.* Ты видишь мои беленькие, острые, очаровательные зубки? — целуя, я кусала. Не больно, нет: немного. От нежности, лаская, кусала я немного, до первых светлых капелек, до крика, похожего на смех, когда щекочут. Это очень приятно, не думай: иначе не возвращались бы ко мне за поцелуями, кого я целовала. Это теперь я могу поцеловать только раз — как печально: только раз. Один поцелуй на каждого… как мало для любящего сердца, чувствительной души, стремящейся к великому слиянию. Но это только я, печальная, целую раз и вновь должна искать любви — *он* другой любви уже не знает, для него нерасторжим и вечен мой брачный, нежный, единый поцелуй. Я говорю с тобой доверчиво; и когда кончу мой рассказ… я тебя поцелую. Я люблю тебя.

Смотри в глаза. Не правда ли, какой велико-

лепный, какой державный взор? И твёрдый. И прямой. И пристальный, как сталь, приставленная к сердцу… смотрю и качаюсь, смотрю и чарую, в зелёных глазах собираю твой страх, твою любовную, усталую, покорную тоску. *Подвинься ближе.* Это теперь я царица, и ты не смеешь не видеть моей красоты, а было странное время… Ах, какое странное время! При одном воспоминании я волнуюсь — ах, какое странное время! Меня не любили. Меня не чтили. С жестокою свирепостью меня преследовали, топтали в грязь и издевались — ах, какое странное время! Одна во множестве! Одна во множестве!

Я говорю тебе: *подвинься ближе.*

За что не любили меня? Ведь и тогда я была очаровательным существом, беззлобным, нежным, танцующим чудесно. Но меня мучили. Меня жгли огнём. Тяжёлые и грубые звери топтали меня тупыми ступнями безумно тяжёлых ног; холодные клыки кровавых ртов разрывали моё нежное тело — и в бессильной скорби я грызла песок, глотала пыль земли и умирала в отчаянии. Каждый день я умирала растоптанная. Каждый день я умирала в отчаянии. Ах, какое подлое время! Глупый лес всё забыл и этого времени не помнит, но ты пожалей меня. *Подвинься ближе.*

Пожалей меня, оскорблённую. Печальную. Любящую. Танцующую прекрасно.

Я люблю тебя.

Как могла я защищаться? У меня были только мои беленькие, чудные, острые зубки, — они пригодны лишь для поцелуев. Как могла я защищаться? — это теперь я ношу на шее эту страшную тяжесть головы и взор мой повелителен и прям, а тогда была легка голова моя и глаза смотрели кротко. Тогда у меня ещё не было яда. Ах, тяжело голове моей, и держать её мне трудно! Ах, я устала от моего взора, два камня во лбу моём, и это мои глаза. Пусть драгоценны сверкающие камни, но тяжело носить их вместо кротких глаз, они давят мозг… тяжело голове моей! Смотрю и качаюсь, в зелёном тумане вижу тебя — ты так далеко. *Подвинься ближе.*

Видишь: даже в печали я прекрасна, и томен мой взор от любви. Смотри в зрачок: я буду суживать его и расширять, и дам ему особый блеск, мерцание ночной звезды, игру всех драгоценных камней: алмазов, зелёных изумрудов, желтеющих топазов, рубинов кроваво-красных. Смотри в глаза: это я, царица, венчаюсь короною моею, а то, что сверкает, горит и падает, отнимает у тебя разум, волю и жизнь, — это яд. Это капелька

моего яда.

Как это случилось? — я не знаю. Я не питала зла к живущему.

Я жила и страдала. Молчала. Таилась. Пряталась торопливо, когда могла спрятаться, уползала поспешно. Но плачущей не видели меня, я не умею плакать; и всё быстрее и прекраснее становилась моя тихая пляска. Одна в тиши, одна в глуши с тоскою в сердце я танцевала — они ненавидели мой быстрый танец и охотно убили бы меня, танцующую. И вдруг стала тяжелеть моя голова — как это странно! — стала тяжелеть моя голова. Всё такая же маленькая и прекрасная, мудрая и прекрасная, она вдруг потяжелела страшно, к земле пригнула шею, сделала мне больно. Это теперь я привыкла немного, а вначале было ужасно неловко и больно. Я думала, что я больна.

И вдруг… *Подвинься ближе. Смотри в глаза. Тише, тише, тише.*

И вдруг отяжелел мой взгляд, стал пристальным и странным… я даже испугалась! Хочу взглянуть и отвернуться — и не могу: смотрю всё прямо, вонзаю взор всё глубже, как будто каменею. *Смотри в глаза.* Как будто каменею, и каменеет всё, на что смотрю. *Смотри в глаза.*

Я тебя люблю. Не смейся над моим доверчивым рассказом, я рассержусь. Каждый час я открываю моё чувствительное сердце, но все мои попытки тщетны, я одинока. Звенящею тоскою полон мой единый и последний поцелуй — и нет любимого, и вновь ищу любви, и тщетно повествую: не может обнажиться сердце, а яд томит, и тяжелеет голова. Не правда ли, как я прекрасна в моём отчаянии? *Подвинься ближе.*

Я люблю тебя.

Однажды я купалась в гнилом лесном болоте — я люблю быть чистой, это признак благородного рождения, и я купаюсь часто. И, купаясь, танцуя на воде, увидела своё изображение и, как всегда, влюбилась. Я так люблю красивое и мудрое! И вдруг увидела, на лбу, среди других природных украшений, явился новый, странный знак… не от него ли тяжесть, окаменелость взора и этот сладкий вкус во рту? Вот здесь темнеет крест на лбу, вот здесь — смотри! *Подвинься ближе.* Не правда ли, как странно? Но я не поняла тогда, и мне понравилось: пусть будет украшением больше. А в тот же день, тот самый страшный день, когда явился крест, мой первый поцелуй стал и последним — смертельным стал мой поцелуй. Одна во множестве! Одна во множестве!

Ах!

Ты любишь драгоценные камни, но подумай, возлюбленный: насколько драгоценнее капелька моего яда. Она такая маленькая — ты видал когда-нибудь? Никогда, никогда. Но ты узнаешь. Помысли, возлюбленный: сколько страданий, тяжёлых унижений, бессильной ярости, себя грызущей, должна была я пережить, чтобы родить вот эту капельку. Я царица! Я царица! В одной капельке, мною рождённой, я ношу смерть для всего живущего, и царство моё безгранично, как безгранична скорбь и безгранична смерть. Я царица! Мой взор непреклонен. Мой танец страшен. Я прекрасна! Одна во множестве! Одна во множестве!

Ах!

Не падай. Я ещё не кончила. Подвинься ближе. Смотри в глаза.

И вот тогда вползла я в глупый лес, в свою зелёную державу. По-новому, по-страшному! Я была кротка, как царица; и милостиво, как царица, кланялась по сторонам: направо, налево. А они… убегали! Благосклонно, как царица, я кланялась: направо и налево, а они, смешные, убегали. Как ты думаешь: отчего они убегали? Как ты думаешь? *Смотри в глаза.* Ты видишь там какое-то

мерцанье и блеск? — это лучи моей короны слепят твой взор, ты каменеешь, ты погиб. Сейчас я протанцую мой последний танец — не падай. Вот в кольца свернусь я, тускло блесну чешуёю, сама обовью себя с нежностью и в нежно-холодных объятиях умножу стальное тело. Вот я! Прими мой брачный единый поцелуй — в нём смертоносная тоска всех угнетённых жизней! Одна во множестве! Одна во множестве!

Склонись ко мне. Люблю тебя.

Умри.

Покой

Умирал важный, старый сановник, большой барин, любивший жизнь. Умирать ему было трудно: в Бога он не верил, зачем умирает — не понимал и ужасался ужасом безумным. Было страшно смотреть на него, как он мучился.

Позади умирающего сановника была большая, богатая, интересная жизнь, в которой не оставались праздными сердце и мысль и получали своё удовлетворение. И устали сердце и мысль, устало всё пожившее, тихо холодеющее тело. Глаза устали смотреть даже на прекрасное, — насытилось зрение; и ухо устало слышать, и сама радость сделалась тяжёлою для утомлённого сердца. И пока был сановник на ногах, о смерти он помышлял даже с некоторым удовольствием: отдохну, по крайней мере, — думал он; перестанут целовать, уважать и ходить с докладами, — думал он с удовольствием. Да, думал… а вот когда свалился он на смертный одр, то стало невыносимо больно и ужасно до последнего ужаса.

Хотелось пожить ещё, — хоть немного, хоть до будущего понедельника или, ещё лучше, до среды или до четверга. Однако настоящего дня, в

который он умер, он так и не узнал, хотя их всего только семь в неделе: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота и воскресенье.

Тут-то, в этот самый неизвестный день, и пришёл к сановнику Чёрт, обыкновенный Чёрт, каких много. В дом он вошёл под видом священника, ладана и свечей, но умершему предстал во всей своей святой правде. Сановник сразу догадался, что Чёрт пришёл неспроста, и обрадовался: раз существует Чёрт, то смерти настоящей нет, а есть какое-то бессмертие. В крайнем же случае, если нет бессмертия, то можно продлить и эту жизнь, продав душу на выгодных условиях. Это было очевидно, а от испуга совсем ясно.

Но Чёрт имел вид усталый и недовольный, долго не начинал разговора и оглядывался брезгливо и кисло, как будто не туда попал. Это обеспокоило сановника, и он поскорее предложил Чёрту сесть; но и усевшись, Чёрт продолжал глядеть всё так же кисло и молчал.

«Вот они какие, — думал сановник, потихоньку разглядывая чуждое, более чем иностранное лицо посетителя. — Ну и противная же харя, господи! Я думаю, что и там он не считается красивым».

А вслух сказал:

— А я вас не таким представлял.

— Что? — недовольно спросил Чёрт и кисло сморщился.

— Не таким вас представлял.

— Пустяки.

Ему все это говорили при первом знакомстве, и надоело слышать одно и то же. А сановник думал:

«Не предлагать же ему чаю или вина, — у него и пасть такая, что пить он не может».

— Вот вы и умерли… — начал Чёрт лениво и скучно.

— Ну что вы! — возмутился и испугался сановник. — Я вовсе ещё не умирал.

— Другому скажите, — равнодушно огрызнулся Чёрт и продолжал: — Вот вы и умерли… так что же нам теперь делать? Дело серьёзное, и вообще, надо же этот вопрос решить.

— Но неужели это — правда: я уже умер? — ужасался сановник. — Ведь мы же… разговариваем.

— Ну, а когда вы едете на ревизию, вы сразу попадаете в вагон? Вы ещё сидите на станции.

— Так, значит, это — станция.

— Ну да. А то что же?

— Понимаю, понимаю. Значит, вот это уже не я. А где же я, то есть моё тело?

Чёрт неопределённо мотнул головой:

— Недалеко. Вас сейчас обмывают тёплой водой.

Чиновнику стало стыдно: вспомнил некрасивые, жирные складки на пояснице, и стало ещё стыднее. Он знал, что покойников обмывают женщины.

— Глупый обычай, — сказал сановник сердито.

— Ну, уж это — ваше дело, а я тут ни при чём. Но, однако, я попросил бы вас перейти к вопросу, а то времени мало. Вы очень быстро портитесь.

— В каком смысле? — похолодел сановник. — В… в обыкновенном?

— Ну да. А то в каком же? — с горькой иронией передразнил его Чёрт. — Мне, извините, ваши вопросы надоели. Извольте выслушать внимательно, что я вам изложу, — повторять не стану.

И в очень скучных выражениях, тягучим голосом повторяя то, что, видимо, самому ему надоело до последней степени, Чёрт изложил следующее. Для старого, важного, уже скончавшегося сановника есть две возможности: или пойти в окончательную смерть, или же в особенную, несколько странную и даже подозрительную жизнь, — как он хочет, как он выберет. Если он выберет первое, — смерть, — то для него наступит вечное небытие, молчание, пустота…

«Господи, это и есть то самое ужасное, чего я так боялся», — думал сановник.

— Ненарушимый покой… — продолжал Чёрт, с некоторым любопытством разглядывая незнакомый потолок. — Вы исчезнете бесследно, ваше существование прекратится абсолютно, вы никогда не будете говорить, думать, желать, испытывать боль или радость, никогда больше не произнесёте «я», — вы исчезнете, погаснете, прекратитесь, понимаете, станете ничто…

— Нет, нет, не хочу! — крикнул сановник.

— Но зато покой, — наставительно сказал Чёрт. — Это, знаете, тоже что-нибудь стоит. Уж такой покой, что лучше придумать нельзя, сколько ни думайте.

— Не хочу покоя, — решительно сказал сановник, а усталость отозвалась в мёртвом сердце мёртвою мольбою: «дайте покоя, покоя, покоя».

Чёрт пожал волосатыми плечами и утомлённо продолжал, как приказчик в модном магазине к концу бойкого торгового дня:

— Но, с другой стороны, я имею вам предложить вечную жизнь…

— Вечную?

— Ну да. В аду. Ну, конечно, это не совсем то, чего бы вам хотелось, но тоже жизнь. У вас будут

кое-какие развлечения, интересные знакомства, разговоры… а главное, вы сохраните навеки ваше «я». Вы будете жить вечно.

— И страдать? — пугливо спросил человек.

— Но что такое страдание? — брезгливо сморщился Чёрт. — Это страшно, пока не привыкнешь. И я должен вам заметить, что если у нас и жалуются на что-нибудь, так именно на привычку.

— А у вас много народу? — Чёрт покосился:

— Есть-таки. Да, на привычку. На этой почве, знаете ли, у нас недавно вышли крупные беспорядки: требовали новых мучений. А где их взять? Кричат: шаблон, рутина…

— Ужасно глупо! — сказал сановник.

— Да, докажите-ка им. По счастью, наш…

Чёрт почтительно привстал и сделал подлое лицо; такое же лицо, на всякий случай, сделал и сановник.

— Наш Маэстро предложил грешникам: пожалуйста, мучайте себя сами. Пожалуйста!

— Самоуправление, так сказать, — отозвался сановник с иронией.

Чёрт сел и засмеялся:

— Теперь они придумывают. Ну, так как же, дорогой мой? Надо решать.

Сановник задумался и, уже веря Чёрту, как

родному брату, несмотря на его гнусную рожу, нерешительно спросил:

— А как бы вы посоветовали?

Чёрт нахмурился:

— Нет, это вы оставьте. Я тут ни при чём.

— Ну так я не хочу в ад!

— Ну и не надо. Распишитесь.

Чёрт положил перед сановником бумажку, довольно грязную, больше похожую на носовой платок, чем на такой важный документ.

— Вот тут, — показал он когтем. — Нет, нет, не там, это — если вы хотите в ад. А смерть вот здесь.

Сановник подержал перо и со вздохом положил.

— Вам легко, — сказал он укоризненно. — А каково мне? Скажите, пожалуйста, у вас чем мучат главным образом? Огнём?

— Да, и огнём, — равнодушно ответил Чёрт. — У нас есть праздники.

— Да что вы! — обрадовался сановник.

— Да. По воскресеньям и табельным дням полный отдых; в субботу, — Чёрт продолжительно зевнул, — занятия только от десяти до двенадцати.

— Так, так. Ну, а Рождество и вообще?..

— На Рождество и на Пасху по три дня свободных, да вот ещё летом каникулы на месяц.

— Фу-ты! — радовался сановник. — Это даже гуманно. Вот не ожидал! Ну, а если… в крайнем, конечно, случае… подать рапорт о болезни?

Чёрт пристально посмотрел на сановника и сказал:

— Пустяки.

Сановнику сделалось стыдно; застыдился слегка и Чёрт. Вздохнул и заволок глаза. Вообще видно было, что либо он не доспал сегодня, либо всё это смертельно ему надоело: умирающие сановники, небытие, вечная жизнь. На правой ноге к шерсти пристал кусочек сухой грязи.

«Откуда это? — подумал сановник. — И почиститься лень».

— Так. Значит, небытие, — задумчиво сказал человек.

— Небытие, — как эхо, не открывая глаз, отозвался Чёрт.

— Или вечная жизнь.

— Или вечная жизнь.

Долго думал умерший. Там уже и панихиду отслужили, а он всё думал. И те, кто видели на подушке его необыкновенно строгое, серьёзное лицо, никак не предполагали, что за странные

сны развеваются над холодным черепом. И Чёрта не видели. Курился, растворяясь, последний ладан, пахло притушенными восковыми свечами, и ещё чем-то как будто пахло.

— Вечная жизнь, — не открывая глаз, задумчиво повторил Чёрт. — Объясни ему получше, что значит вечная жизнь: ты плохо, говорит, объясняешь, — а разве он, дурак, когда-нибудь поймёт…

— Это вы про меня? — с надеждой спросил сановник.

— Так, вообще. Моё дело маленькое, но как посмотришь на всё на это…

Чёрт уныло замотал головой. Сановник также в знак сочувствия покачал головой и сказал:

— Вы, видимо, не удовлетворены, и если я, со своей стороны…

— Прошу вас не касаться моей личной жизни, — вспылил Чёрт. — И вообще, скажите, пожалуйста, кто из нас Чёрт: вы или я? Вас спрашивают, вы и отвечайте: жизнь или смерть?

И опять думал сановник. И всё не знал, на что ему решиться. И оттого ли, что мозг его портился с каждой секундой, или от природной слабости, стал он склоняться на сторону вечной жизни. «Что такое страдание? — думал он. — Разве не страданием была вся его жизнь, а как хорошо

было жить. Не страдания страшны, а страшно то, пожалуй, что сердце их не вмещает. Не вмещает их сердце и просит покоя, покоя, покоя…»

…В это время его уже везли на кладбище. И как раз около департамента, где он начальствовал, служили панихиду. Шёл дождь, и все были под зонтиками, стекала с зонтиков вода и поливала мостовую. Блестела мостовая, а по лужам молчаливо топорщилась рябь, — был ветер при дожде.

«Но не вмещает сердце и радости, — думал сановник, уже склоняясь на сторону небытия, — устаёт оно от радости и просит покоя, покоя, покоя. У меня ли одного такое тесное сердце, или же так и всем на роду написано, но только устал я, ах, как я устал». И вспомнил он недавний случай. Это было ещё до болезни. И собрались у него гости, и было почётно, весело и дружелюбно. Очень много смеялись, а особенно он, — раз даже до слёз рассмеялся. И не успел он тогда про себя подумать: «какой я счастливый», — как вдруг потянуло его в одиночество. И не в кабинет, и не в спальню, а в самое одинокое место, — вот и спрятался он в то место, куда ходят только по нужде, спрятался, как мальчик, избегающий наказания. И провёл он в одиноком месте несколько минут, почти не дыша от усталости, предавая смерти дух

и тело, общаясь с нею в молчании таком угрюмом, каким молчат только в гробу.

— А ведь надо поторопиться, — сказал Чёрт угрюмо. — Скоро и конец.

Лучше бы он и не говорил этого слова: конец. Совсем было отдался сановник смерти, а при этом слове воспрянула жизнь и завопила, требуя продолжения. И так всё стало непонятно, так трудно для решения, что положился сановник на судьбу.

— Можно подписать с закрытыми глазами? — боязливо спросил он Чёрта.

Чёрт искоса поглядел на него, качнул головой и сказал:

— Пустяки.

Но, должно быть, надоело ему возиться, — подумал, повздыхал и снова разложил перед сановником смятую бумажку, больше похожую на носовой платок, чем на такой важный документ. Сановник взял перо, стряхнул чернила раз, другой, закрыл глаза, нащупал пальцем место и… Но в последний момент, когда уже делал росчерк, не вытерпел и взглянул одним глазом. И крикнул, отшвырнув перо:

— Ах, что же я наделал!

Как эхо, ответил ему Чёрт:

— Ах!

И заахали стены и потолок, стали сдвигаться, ахая. И захохотал Чёрт, уходя. И чем дальше он уходил, тем шире становился его хохот, терял раздельность, раскатывался страшно.

…В это время сановника уже зарывали. Мокрые, слипшиеся комья тяжело грохались о крышку, и казалось, что гроб совсем пуст, и в нём нет никого, даже и покойника, — так широки и гулки были звуки.

Павел Петрович Бажов (1879–1950)

Малахитовая шкатулка

У Настасьи, Степановой-то вдовы, шкатулка малахитова осталась. Со всяким женским прибором. Кольца там, серьги и протча по женскому обряду. Сама Хозяйка Медной горы одарила Степана этой шкатулкой, как он ещё жениться собирался.

Настасья в сиротстве росла, не привыкла к экому-то богатству, да и нешибко любительница была моду выводить. С первых годов, как жили со Степаном, надёвывала, конечно, из этой шкатулки. Только не к душе ей пришлось. Наденет кольцо… Ровно как раз впору, не жмёт, не скатывается, а пойдёт в церкву или в гости куда — замается. Как закованный палец-от, в конце нали посинеет. Серьги навесит — хуже того. Уши так оттянет, что мочки распухнут. А на руку взять — не тяжелее тех, какие Настасья всегда носила. Буски в шесть ли семь рядов только раз и примерила. Как лёд кругом шеи-то, и не согреваются нисколько. На люди те буски вовсе не показывала. Стыдно было.

— Ишь, скажут, какая царица в Полевой выискалась!

Степан тоже не понуждал жену носить из этой

шкатулки. Раз даже как-то сказал:

— Убери-ко куда от греха подальше.

Настасья и поставила шкатулку в самый нижний сундук, где холсты и протча про запас держат.

Как Степан умер да камешки у него в мертвой руке оказались, Настасье и причтелось ту шкатулку чужим людям показать. А тот знающий, который про Степановы камешки обсказал, и говорит Настасье потом, как народ схлынул:

— Ты, гляди, не мотни эту шкатулку за пустяк. Больших тысяч она стоит.

Он, этот человек-от, учёной был, тоже из вольных. Ране-то в щёгарях ходил, да его отстранили: ослабу-де народу даёт. Ну, и винцом не брезговал. Тоже добра кабацка затычка был, не тем будь помянут, покойна головушка. А так во всём правильный. Прошенье написать, пробу смыть, знаки оглядеть — всё по совести делал, не как иные протчие, абы на полштофа сорвать. Кому-кому, а ему всяк поднесёт стаканушку праздничным делом. Так он на нашем заводе и до смерти дожил. Около народа питался.

Настасья от мужа слыхала, что этот щёгарь правильный и в делах смышлёный, даром что к винишку пристрастье поимел. Ну и послуша-

лась его.

— Ладно, — говорит, — поберегу на чёрный день. — И поставила шкатулку на старо место.

Схоронили Степана, сорочины отправили честь честью. Настасья — баба в соку да и с достатком, стали к ней присватываться. А она, женщина умная, говорит всем одно:

— Хоть золотой второй, а всё робятам вотчим. Ну, отстали по времени.

Степан хорошее обеспечение семье оставил. Дом справный, лошадь, корова, обзаведенье полное. Настасья баба работящая, робятишки пословные, не охтимнеченьки живут. Год живут, два живут, три живут. Ну, забеднели всё ж таки. Где же одной женщине с малолетками хозяйство управить! Тоже ведь и копейку добыть где-то надо. На соль хоть. Тут родня и давай Настасье в уши напевать:

— Продай шкатулку-то! На что она тебе? Что впусте добру лежать. Всё едино и Танюшка, как вырастет, носить не будет. Вон там штучки какие! Только барам да купцам впору покупать. С нашим-то ремьём не наденешь эко место. А люди деньги бы дали. Разоставок тебе.

Однем словом, наговаривают. И покупатель, как ворон на кости, налетел. Из купцов все. Кто

сто рублей даёт, кто двести.

— Робят-де твоих жалеем, по вдовьему положению нисхождение тебе делаем.

Ну, оболванить ладят бабу, да не на ту попали.

Настасья хорошо запомнила, что ей старый щёгарь говорил, не продаёт за такой пустяк. Тоже и жалко. Как-никак женихово подаренье, мужнина память. А пуще того девчоночка у ней младшенькая слезами улилась, просит:

— Мамонька, не продавай! Мамонька, не продавай! Лучше я в люди пойду, а тятину памятку побереги.

От Степана, вишь, осталось трое робятишек-то. Двое парнишечки. Робята как робята, а эта, как говорится, ни в мать, ни в отца. Ещё при Степановой бытности, как вовсе маленькая была, на эту девчоночку люди дивовались. Не то что девки-бабы, а и мужики Степану говорили:

— Не иначе эта у тебя, Степан, из кистей выпала. В кого только зародилась! Сама чёрненька да басенька, а глазки зелёненьки. На наших девчонок будто и вовсе не походит.

Степан пошутит, бывало:

— Это не диво, что чёрненька. Отец-то ведь с малых лет в земле скыркался. А что глазки зелёные — тоже дивить не приходится. Мало ли я

малахиту барину Турчанинову набил. Вот памятка мне и осталась.

Так эту девчоночку Памяткой и звал. — Ну-ка ты, Памятка моя! — И когда случалось ей что покупать, так завсегда голубенького либо зелёного принесёт.

Вот и росла та девчоночка на примете у людей. Ровно и всамделе гарусинка из праздничного пояса выпала — далеко её видно. И хоть она не шибко к чужим людям ластилась, а всяк ей — Танюшка да Танюшка. Самые завидущие бабёшки и те любовались. Ну, как, — красота! Всякому мило. Одна мать повздыхивала:

— Красота-то — красота, да не наша. Ровно кто подменил мне девчонку.

По Степану шибко эта девчоночка убивалась. Чисто уревелась вся, с лица похудела, одни глаза остались. Мать и придумала дать Танюшке ту шкатулку малахитову — пущай-де позабавится. Хоть маленькая, а девчоночка, — с малых лет им лестно на себя-то навздевать. Танюшка и занялась разбирать эти штучки. И вот диво — которую примеряет, та и по ней. Мать-то иное и не знала, к чему, а эта всё знает. Да ещё говорит:

— Мамонька, сколь хорошо тятино-то подаренье! Тепло от него, будто на пригревинке сидишь,

да ещё кто тебя мягким гладит.

Настасья сама нашивала, помнит, как у неё пальцы затекали, уши болели, шея не могла согреться. Вот и думает: «Неспроста это. Ой, неспроста!» — да поскорее шкатулку-то опять в сундук. Только Танюшка с той поры нет-нет и запросит:

— Мамонька, дай поиграть тятиным подареньем!

Настасья когда и пристрожит, ну, материнско сердце — пожалеет, достанет шкатулку, только накажет:

— Не изломай чего!

Потом, когда подросла Танюшка, она и сама стала шкатулку доставать. Уедет мать со старшими парнишечками на покос или ещё куда, Танюшка останется домовничать. Сперва, конечно, управит, что мать наказывала. Ну, чашки-ложки перемыть, скатёрку стряхнуть, в избе-сенях веничком подмахнуть, куричёшкам корму дать, в печке поглядеть. Справит всё поскорее, да и за шкатулку. Из верхних-то сундуков к тому времени один остался, да и тот лёгонький стал. Танюшка сдвинет его на табуреточку, достанет шкатулку и перебирает камешки, любуется, на себя примеряет.

Раз к ней и забрался хитник. То ли он в ограде спозаранку прихоронился, то ли потом незаметно где пролез, только из суседей никто не видал, чтобы он по улице проходил. Человек незнамый, а по делу видать — кто-то навёл его, весь порядок обсказал.

Как Настасья уехала, Танюшка побегала много-мало по хозяйству и забралась в избу поиграть отцовскими камешками. Надела наголовник, серьги навесила. В это время и пых в избу этот хитник. Танюшка оглянулась — на пороге мужик незнакомый, с топором. И топор-то ихний. В сенках, в уголочке стоял. Только что Танюшка его переставляла, как в сенках мела. Испугалась Танюшка, сидит, как замерла, а мужик сойкнул, топор выронил и обеими руками глаза захватил, как обожгло их. Стонет-кричит:

— Ой батюшки, ослеп я! Ой, ослеп! — а сам глаза трёт.

Танюшка видит — неладно с человеком, стала спрашивать:

— Ты как, дяденька, к нам зашёл, пошто топор взял?

А тот, знай, стонет да глаза свои трёт. Танюшка его и пожалела — зачерпнула ковшик воды, хотела подать, а мужик так и шарахнулся спиной

к двери.

— Ой, не подходи! — Так в сенках и сидел и двери завалил, чтобы Танюшка ненароком не выскочила. Да она нашла ход — выбежала через окошко и к суседям. Ну, пришли. Стали спрашивать, что за человек, каким случаем? Тот промигался маленько, объясняет — проходящий-де, милостинку хотел попросить, да что-то с глазами попритчилось.

— Как солнцем ударило. Думал — вовсе ослепну. От жары, что ли.

Про топор и камешки Танюшка суседям не сказала. Те и думают:

«Пустяшно дело. Может, сама же забыла ворота запереть, вот проходящий и зашёл, а тут с ним и случилось что-то. Мало ли бывает».

До Настасьи всё ж таки проходящего не отпустили. Когда она с сыновьями приехала, этот человек ей рассказал, что суседям рассказывал. Настасья видит — всё в сохранности, вязаться не стала. Ушёл тот человек и суседи тоже.

Тогда Танюшка матери и выложила, как дело было. Тут Настасья и поняла, что за шкатулкой приходил, да взять-то её, видно, непросто. А сама думает:

«Оберегать-то её всё ж таки покрепче надо».

Взяла да потихоньку от Танюшки и других робят и зарыла ту шкатулку в голбец.

Уехали опять все семейные. Танюшка хватилась шкатулки, а её быть бывало. Горько это показалось Танюшке, а тут вдруг теплом её опахнуло. Что за штука? Откуда? Огляделась, а из-под полу свет. Танюшка испугалась — не пожар ли? Заглянула в голбец, там в одном уголке свет. Схватила ведро, плеснуть хотела — только ведь огня-то нет и дымом не пахнет. Покопалась в том месте, видит — шкатулка. Открыла, а камни-то ровно ещё краше стали. Так и горят разными огоньками, и светло от них, как при солнышке. Танюшка и в избу не потащила шкатулку. Тут в голбце и наигралась досыта.

Так с той поры и повелось. Мать думает: «Вот хорошо спрятала, никто не знает», — а дочь, как домовничать, так и урвёт часок поиграть дорогим отцовским подареньем. Насчёт продажи Настасья и говорить родне не давала.

— По миру впору придёт — тогда продам.

Хоть круто ей приходилось, — а укрепилась. Так ещё сколько-то годов перемогались, дальше на поправу пошло. Старшие робята стали зарабатывать маленько, да и Танюшка не сложа руки сидела. Она, слышь-ко, научилась шелками да

бисером шить. И так научилась, что самолучшие барские мастерицы руками хлопали — откуда узоры берёт, где шелка достаёт?

А тоже случаем вышло. Приходит к ним женщина. Небольшого росту, чернявая, в Настасьиных уж годах, а востроглазая и, по всему видать, шмыгало такое, что только держись. На спине котомочка холщовая, в руке черёмуховый бадожок, вроде как странница. Просится у Настасьи:

— Нельзя ли, хозяюшка, у тебя денёк-другой отдохнуть? Ноженки не несут, а итти не близко.

Настасья сперва подумала, не подослана ли опять за шкатулкой, потом всё ж таки пустила.

— Места не жалко. Не пролежишь, поди, и с собой не унесёшь. Только вот кусок-от у нас сиротский. Утром — лучок с кваском, вечером квасок с лучком, вся и перемена. Отощать не боишься, так милости просим, живи, сколь надо.

А странница уж бадожок свой поставила, котомку на припечье положила и обуточки снимает. Настасье это не по нраву пришлось, а смолчала.

«Ишь неочёсливая! Приветить её не успели, а она нако — обутки сняла и котомку развязала».

Женщина, и верно, котомочку расстегнула и пальцем манит к себе Танюшку:

— Иди-ко, дитятко, погляди на моё рукоделье.

Коли поглянется, и тебя выучу… Видать, цепкий глазок-от на это будет!

Танюшка подошла, а женщина и подаёт ей ширинку маленькую, концы шёлком шиты. И такой-то, слышь-ко, жаркий узор на той ширинке, что ровно в избе светлее и теплее стало.

Танюшка так глазами и впилась, а женщина посмеивается.

— Поглянулось, знать, доченька, моё рукодельице? Хочешь — выучу?

— Хочу, — говорит.

Настасья так и взъелась:

— И думать забудь! Соли купить не на что, а ты придумала шелками шить! Припасы-то, поди-ко, денег стоят.

— Про то не беспокойся, хозяюшка, — говорит странница. — Будет понятие у доченьки — будут и припасы. За твою хлеб-соль оставлю ей — надолго хватит. А дальше сама увидишь. За наше-то мастерство денежки платят. Не даром работу отдаём. Кусок имеем.

Тут Настасье уступить пришлось.

— Коли припасов уделишь, так о чём не поучиться. Пущай поучится, сколь понятия хватит. Спасибо тебе скажу.

Вот эта женщина и занялась Танюшку учить.

Скорёхонько Танюшка всё переняла, будто раньше которое знала. Да вот ещё что. Танюшка не то что к чужим, к своим неласковая была, а к этой женщине так и льнёт, так и льнёт. Настасья скоса запоглядывала:

«Нашла себе новую родню. К матери не подойдёт, а к бродяжке прилипла!»

А та ещё ровно дразнит, всё Танюшку дитятком да доченькой зовёт, а крещёное имя ни разочку не помянула. Танюшка видит, что мать в обиде, а не может себя сдержать. До того, слышь-ко, вверилась этой женщине, что ведь сказала ей про шкатулку-то!

— Есть, — говорит, — у нас дорогая тятина памятка — шкатулка малахитова. Вот где каменья! Век бы на них глядела.

— Мне покажешь, доченька? — спрашивает женщина.

Танюшка даже не подумала, что это неладно.

— Покажу, — говорит, — когда дома никого из семейных не будет.

Как вывернулся такой часок, Танюшка и позвала ту женщину в голбец. Достала Танюшка шкатулку, показывает, а женщина поглядела маленько да и говорит:

— Надень-ко на себя — виднее будет.

Ну, Танюшка, — не того слова, — стала надевать, а та, знай, похваливает.

— Ладно, доченька, ладно! Капельку только поправить надо.

Подошла поближе, да и давай пальцем в камешки тыкать. Который заденет — тот и загорится по-другому. Танюшке иное видно, иное — нет. После этого женщина и говорит:

— Встань-ко, доченька, пряменько.

Танюшка встала, а женщина и давай её потихоньку гладить по волосам, по спине. Всю огладила, а сама наставляет:

— Заставлю тебя повернуться, так ты, смотри, на меня не оглядывайся. Вперёд гляди, примечай, что будет, а ничего не говори. Ну, поворачивайся!

Повернулась Танюшка — перед ней помещение, какого она отродясь не видывала. Не то церква, не то что. Потолки высоченные на столбах из чистого малахиту. Стены тоже в рост человека малахитом выложены, а по верхнему карнизу малахитовый узор прошёл. Прямо перед Танюшкой, как вот в зеркале, стоит красавица, про каких только в сказках сказывают. Волосы, как ночь, а глаза зелёные. И вся-то она изукрашена дорогими каменьями, а платье на ней из зелёного

бархату с переливом. И так это платье сшито, как вот у цариц на картинках. На чём только держится. Со стыда бы наши заводские сгорели на людях такое надеть, а эта зеленоглазая стоит себе спокойнёшенько, будто так и надо. Народу в том помещенье полно. По-господски одеты, и все в золоте да заслугах. У кого спереду навешано, у кого сзади нашито, а у кого и со всех сторон. Видать, самое вышнее начальство. И бабы ихние тут же. Тоже голоруки, гологруды, каменьями увешаны. Только где им до зеленоглазой! Ни одна в подмётки не годится.

В ряд с зеленоглазой какой-то белобрысенький. Глаза враскос, уши пенёчками, как есть заяц. А одёжа на нём — уму помраченье. Этому золота-то мало показалось, так он, слышь-ко, на обую камни насадил. Да такие сильные, что, может, в десять лет один такой найдут. Сразу видать — заводчик это. Лопочет тот заяц зеленоглазой-то, а она хоть бы бровью повела, будто его вовсе нет.

Танюшка глядит на эту барыню, дивится на неё и только тут заметила:

— Ведь каменья-то на ней тятины! — сойкала Танюшка, и ничего не стало.

А женщина та посмеивается:

— Не доглядела, доченька! Не тужи, по времени

доглядишь.

Танюшка, конечно, доспрашивается — где это такое помещенье?

— А это, — говорит, — царский дворец. Та самая палата, коя здешним малахитом изукрашена. Твой покойный отец его добывал-то.

— А это кто в тятиных уборах и какой это с ней заяц?

— Ну, этого не скажу, сама скоро узнаешь.

В тот же день, как пришла Настасья домой, эта женщина собираться в дорогу стала. Поклонилась низенько хозяйке, подала Танюшке узелок с шелками да бисером, потом достала пуговку махонькую. То ли она из стекла, то ли из дурмашка на простую грань обделана.

Подаёт её Танюшке, да и говорит:

— Прими-ко, доченька, от меня памятку. Как что забудешь по работе либо трудный случай подойдёт, погляди на эту пуговку. Тут тебе ответ и будет.

Сказала так-то и ушла. Только её и видели.

С той вот поры Танюшка и стала мастерицей, а уж в годы входить стала, вовсе невестой глядит. Заводские парни о Настасьины окошки глаза обмозолили, а подступить к Танюшке боятся. Вишь, неласковая она, невесёлая, да и за крепостного где

же вольная пойдёт. Кому охота петлю надевать?

В барском доме тоже проведали про Танюшку из-за мастерства-то её. Подсылать к ней стали. Лакея помоложе да поладнее оденут по-господски, часы с цепкой дадут и пошлют к Танюшке, будто за делом каким. Думают, не обзарится ли девка на экого молодца. Тогда её обратать можно. Толку всё ж таки не выходило. Скажет Танюшка что по делу, а другие разговоры того лакея без внимания. Надоест, так ещё надсмешку подстроит:

— Ступай-ко, любезный, ступай! Ждут ведь. Боятся, поди, как бы у тебя часы потом не изошли и цепка не помедела. Вишь, без привычки-то как ты их мозолишь.

Ну, лакею или другому барскому служке эти слова, как собаке кипяток. Бежит, как ошпаренный, фырчит про себя:

— Разве это девка? Статуй каменный, зеленоглазый! Такую ли найдём!

Фырчит так-то, а самого уж захлестнуло. Которого пошлют, забыть не может Танюшкину красоту. Как приворожённого к тому месту тянет — хоть мимо пройти, в окошко поглядеть. По праздникам чуть не всему заводскому холостяжнику дело на той улице. Дорогу у самых окошек проторили, а Танюшка и не глядит.

Суседки уж стали Настасью корить:

— Что это у тебя Татьяна шибко высоко себя повела? Подружек у ней нет, на парней глядеть не хочет. Царевича-королевича ждёт аль в Христовы невесты ладится?

Настасья на эти покоры только вздыхает:

— Ой, бабоньки, и сама не ведаю. И так-то у меня девка мудрёная была, а колдунья эта проходящая вконец её извела. Станешь ей говорить, а она уставится на свою колдовскую пуговку и молчит. Так бы и выбросила эту проклятую пуговку, да по делу она ей на пользу. Как шелка переменить или что, так в пуговку и глядит. Казала и мне, да у меня, видно, глаза тупы стали, не вижу. Налупила бы девку, да, вишь, она у нас старательница. Почитай, её работой только и живём. Думаю-думаю так-то да и зареву. Ну, тогда она скажет: «Мамонька, ведь знаю я, что тут моей судьбы нет. То никого и не привечаю и на игрища не хожу. Что зря людей в тоску вгонять? А что под окошком сижу, так работа моя того требует. За что на меня приходишь? Что я худого сделала?» Вот и ответь ей!

Ну, жить всё ж таки ладно стали. Танюшкино рукоделье на моду пошло. Не то что в заводе аль в нашем городе, по другим местам про него узнали,

заказы посылают и деньги платят немалые. Доброму мужику впору столько-то заробить. Только тут беда их и пристигла — пожар случился. А ночью дело было. Пригон, завозня, лошадь, корова, снасть всяка — всё сгорело. С тем только и остались, в чём выскочили. Шкатулку, однако, Настасья выхватила, успела-таки. На другой день и говорит:

— Видно, край пришёл — придётся продать шкатулку.

Сыновья в один голос:

— Продавай, мамонька. Не продешеви только.

Танюшка украдкой на пуговку поглядела, а там зеленоглазая маячит — пущай продают. Горько стало Танюшке, а что поделаешь? Всё равно уйдёт отцова памятка этой зеленоглазой. Вздохнула и говорит:

— Продавать — так продавать. — И даже не стала на прощанье те камни глядеть. И то сказать — у суседей приютились, где тут раскладываться.

Придумали так — продать-то, а купцы уж тут как тут. Кто, может, сам и поджог-от подстроил, чтобы шкатулкой завладеть. Тоже ведь народишко-то — ноготок, доцарапается! Видят, — робята подросли — больше дают. Пятьсот там, семьсот, один до тысячи дошёл. По заводу деньги немалые,

можно на их обзавестись. Ну, Настасья запросила все ж таки две тысячи. Ходят, значит, к ней, рядятся. Накидывают помаленьку, а сами друг от друга таятся, сговориться меж собой не могут. Вишь, кусок-от такой — ни одному отступиться неохота. Пока они так-то ходили, в Полевую и приехал новый приказчик.

Когда ведь они — приказчики-то — подолгу сидят, а в те годы им какой-то перевод случился. Душно□го козла, который при Степане был, старый барин на Крылатовско за вонь отставил. Потом был Жареной Зад. Рабочие его на болванку посадили. Тут заступил Северьян Убойца. Этого опять Хозяйка Медной горы в пусту породу перекинула. Там ещё двое ли, трое каких-то были, а потом и приехал этот.

Он, сказывают, из чужестранных земель был, на всяких языках будто говорил, а по-русски похуже. Чисто-то выговаривал одно — пороть. Свысока так, с растяжкой — па-роть. О какой недостаче ему заговорят, одно кричит: пароть! Его Паротей и прозвали.

На деле этот Паротя не шибко худой был. Он хоть кричал, а вовсе народ на пожарну не гонял. Тамошним охлёстышам вовсе и дела не стало. Вздохнул маленько народ при этом Пароте.

Тут, вишь, штука-то в чём. Старый барин к той поре вовсе утлый стал, еле ногами перебирал. Он и придумал сына женить на какой-то там графине ли, что ли. Ну, а у этого молодого барина была полюбовница, и он к ей большую приверженность имел. Как делу быть? Неловко всё ж таки. Что новые сватовья скажут? Вот старый барин и стал сговаривать ту женщину — сынову-то полюбовницу — за музыканта. У барина же этот музыкант служил. Робятишек на музыках обучал и так разговору чужестранному, как ведётся по ихнему положению.

— Чем, — говорит, — тебе так-то жить на худой славе, выходи-ка ты замуж. Приданым тебя оделю, а мужа приказчиком в Полевую пошлю. Там дело направлено, пущай только построже народ держит. Хватит, поди, на это толку, что хоть и музыкант. А ты с ним лучше лучшего проживёшь в Полевой-то. Первый человек, можно сказать, будешь. Почёт тебе, уважение от всякого. Чем плохо?

Бабочка сговорная оказалась. То ли она в рассорке с молодым барином была, то ли хитрость поимела.

— Давно, — говорит, — об этом мечтанье имела, да сказать — не насмелилась.

Ну, музыкант, конечно, сперва упёрся:

— Не желаю, — шибко про неё худа слава, потаскуха вроде.

Только барин — старичонко хитрой. Недаром заводы нажил. Живо обломал этого музыканта. Припугнул чем али улестил, либо подпоил — их-нее дело, только вскорости свадьбу справили, и молодые поехали в Полевую. Так вот Паротя и появился в нашем заводе. Недолго только прожил, а так — что зря говорить — человек не вредный. Потом, как Полторы Хари вместо его заступил — из своих заводских, так жалели даже этого Паротю.

Приехал с женой Паротя как раз в ту пору, как купцы Настасью обхаживали. Паротина баба тоже видная была. Белая да румяная — однем словом, полюбовница. Небось худу-то бы не взял барин. Тоже, поди, выбирал! Вот эта Паротина жена и прослышала, — шкатулку продают. «Дай-ко, — думает, — посмотрю, может, всамделе стоющее что». Живёхонько срядилась и прикатила к Настасье. Им ведь лошадки-то заводские завсегда готовы!

— Ну-ко, — говорит, — милая, покажи, какие такие камешки продаёшь?

Настасья достала шкатулку, показывает. У Паротиной бабы и глаза забегали. Она, слышь-ко,

в Сам-Петербурхе воспитывалась, в заграницах разных с молодым барином бывала, толк в этих нарядах имела. «Что же это, — думает, — такое? У самой царицы эдаких украшениев нет, а тут на-ко — в Полевой, у погорельцев! Как бы только не сорвалась покупочка».

— Сколько, — спрашивает, — просишь?

Настасья говорит:

— Две бы тысячи охота взять.

Барыня порядилась для прилику, да и говорит:

— Ну, милая, собирайся! Поедем ко мне со шкатулкой. Там деньги сполна получишь.

Настасья, однако, на это не подалась.

— У нас, — говорит, — такого обычая нет, чтобы хлеб за брюхом ходил. Принесёшь деньги — шкатулка твоя.

Барыня видит — вон какая женщина, — живо скрутилась за деньгами, а сама наказывает:

— Ты уж, милая, не продавай шкатулку.

Настасья отвечает:

— Это будь в надежде. От своего слова не отопрусь. До вечера ждать буду, а дальше моя воля.

Уехала Паротина жена, а купцы-то и набежали все разом. Они, вишь, следили. Спрашивают:

— Ну, как?

— Запродала, — отвечает Настасья.

— За сколь?

— За две, как назначила.

— Что ты, — кричат, — ума решилась али что? В чужие руки отдаёшь, а своим отказываешь! — И давай-ко цену набавлять.

Ну, Настасья на эту удочку не клюнула.

— Это, — говорит, — вам привышно дело в словах вертеться, а мне не доводилось. Обнадёжила женщину, и разговору конец!

Паротина баба крутёхонько обернулась. Привезла деньги, передала из ручки в ручку, подхватила шкатулку и айда домой. Только на порог, а навстречу Танюшка. Она, вишь, куда-то ходила, и вся эта продажа без неё была. Видит — барыня какая-то и со шкатулкой. Уставилась на неё Танюшка — дескать, не та ведь, какую тогда видела. А Паротина жена пуще того воззрилась.

— Что за наваждение? Чья такая? — спрашивает.

— Дочерью люди зовут, — отвечает Настасья. — Самая как есть наследница шкатулки-то, кою ты купила. Не продала бы, кабы не край пришёл. С малолетства любила этими уборами играть. Играет да нахваливает — как-де от них тепло да хорошо. Да что об этом говорить! Что с возу пало — то пропало!

— Напрасно, милая, так думаешь, — говорит Паротина баба. — Найду я местичко этим каменьям. — А про себя думает: «Хорошо, что эта зеленоглазая силы своей не чует. Покажись такая в Сам-Петербурхе, царями бы вертела. Надо — мой-то дурачок Турчанинов её не увидал».

С тем и разошлись.

Паротина жена, как приехала домой, похвасталась:

— Теперь, друг любезный, я не то что тобой, и Турчаниновым не понуждаюсь. Чуть что — до свиданья! Уеду в Сам-Петербурх либо, того лучше, в заграницу, продам шкатулочку и таких-то мужей, как ты, две дюжины куплю, коли надобность случится.

Похвасталась, а показать на себе новокупку всё ж таки охота. Ну, как — женщина! Подбежала к зеркалу и первым делом наголовник пристроила. — Ой, ой, что такое! — Терпенья нет — крутит и дерёт волосы-то. Еле выпростала. А неймётся. Серьги надела — чуть мочки не разорвало. Палец в перстень сунула — заковало, еле с мылом стащила. Муж посмеивается: не таким, видно, носить!

А она думает: «Что за штука? Надо в город ехать, мастеру показать. Подгонит как надо, только бы

камни не подменил».

Сказано — сделано. На другой день с утра укатила. На заводской-то тройке ведь недалеко. Узнала, какой самый надёжный мастер, — и к нему. Мастер старый-престарый, а по своему делу дока. Оглядел шкатулку, спрашивает, у кого куплено. Барыня рассказала, что знала. Оглядел ещё раз мастер шкатулку, а на камни и не взглянул даже.

— Не возьмусь, — говорит, — что хошь давайте. Не здешних это мастеров работа. Нам несподручно с ними тягаться.

Барыня, конечно, не поняла, в чём тут закорючка, фыркнула и побежала к другим мастерам. Только все как сговорились: оглядят шкатулку, полюбуются, а на камни не смотрят и от работы наотрез отказываются. Барыня тогда на хитрости пошла, говорит, что эту шкатулку из Сам-Петербурху привезла. Там всё и делали. Ну, мастер, которому она это плела, только рассмеялся.

— Знаю, — говорит, — в каком месте шкатулка делана, и про мастера много наслышан. Тягаться с ним всем нашим не по плечу. На одного кого тот мастер подгоняет, другому не подойдёт, что хошь делай.

Барыня и тут не поняла всего-то, только то и

уразумела — неладное дело, боятся кого-то мастера. Припомнила, что старая хозяйка сказывала, будто дочь любила эти уборы на себя надевать.

«Не по этой ли зеленоглазой подгонялись? Вот беда-то!»

Потом опять переводит в уме:

«Да мне-то что! Продам какой ни есть богатой дуре. Пущай мается, а денежки у меня будут!» С этим и уехала в Полевую.

Приехала, а там новость: весточку получили — старый барин приказал долго жить. Хитренько с Паротей-то он устроил, а смерть его перехитрила — взяла и стукнула. Сына так и не успел женить, и он теперь полным хозяином стал. Через малое время Паротина жена получила писёмышко. Так и так, моя любезная, по вешней воде приеду на заводах показаться и тебя увезу, а музыканта твоего куда-нибудь законопатим. Паротя про это как-то узнал, шум-крик поднял. Обидно, вишь, ему перед народом-то. Как-никак приказчик, а тут вон что — жену отбирают. Сильно выпивать стал. Со служащими, конечно. Они рады стараться на даровщинку-то. Вот раз пировали. Кто-то из этих запивох и похвастай:

— Выросла-де у нас в заводе красавица, другую такую не скоро сыщешь.

Паротя и спрашивает:

— Чья такая? В котором месте живёт?

Ну, ему рассказали и про шкатулку помянули — в этой-де семье ваша жена шкатулку покупала.

Паротя и говорит:

— Поглядеть бы, — а у запивох и заделье нашлось.

— Хоть сейчас пойдём — освидетельствовать, ладно ли они новую избу поставили. Семья хоть из вольных, а на заводской земле живут. В случае чего и прижать можно.

Пошли двое ли, трое с этим Паротей. Цепь притащили, давай промер делать, не зарезалась ли Настасья в чужую усадьбу, выходят ли вершки меж столбами. Подыскиваются, однем словом. Потом заходят в избу, а Танюшка как раз одна была. Глянул на неё Паротя и слова потерял. Ну, ни в каких землях такой красоты не видывал. Стоит как дурак, а она сидит — помалкивает, будто её дело не касается. Потом отошёл малость Паротя, стал спрашивать:

— Что поделываете?

Танюшка говорит:

— По заказу шью, — и работу свою показала.

— Мне, — говорит Паротя, — можно заказ сделать?

— Отчего же нет, коли в цене сойдёмся.

— Можете, — спрашивает опять Паротя, — мне с себя патрет шелками вышить?

Танюшка потихоньку на пуговку поглядела, а там зеленоглазая ей знак подает — бери-де заказ! — и на себя пальцем указывает. Танюшка и отвечает:

— Свой патрет не буду, а есть у меня на примете женщина одна в дорогих каменьях, в царицыном платье, эту вышить могу. Только недёшево будет стоить такая работа.

— Об этом, — говорит, — не сумлевайтесь, хоть сто, хоть двести рублей заплачу, лишь бы сходственность с вами была.

— В лице, — отвечает, — сходственность будет, а одёжа другая.

Срядились за сто рублей. Танюшка и срок назначила — через месяц. Только Паротя нет-нет и забежит, будто о заказе узнать, а у самого вовсе не то на уме. Тоже обахмурило его, а Танюшка ровно и вовсе не замечает. Скажет два-три слова, и весь разговор. Запивохи-то Паротины подсмеиваться над ним стали:

— Тут-де не отломится. Зря сапоги треплешь!

Ну вот, вышила Танюшка тот патрет. Глядит Паротя — фу-ты, боже мой! да ведь это она самая

и есть, одежой да каменьями изукрашенная! Подаёт, конечно, три сотенных билета, только Танюшка два-то не взяла.

— Не привышны, — говорит, — мы подарки-то принимать. Трудами кормимся.

Прибежал Паротя домой, любуется на патрет, а от жены впотай держит. Пировать меньше стал, в заводское дело вникать мало-мало начал.

Весной приехал на заводы молодой барин. В Полевую прикатил. Народ согнали, молебен отслужили, и потом в господском доме тонцы-звонцы пошли. Народу тоже две бочки вина выкатили — помянуть старого, проздравить нового барина. Затравку, значит, сделали. На это все Турчаниновы мастера были. Как зальёшь господскую чарку десятком своих, так и невесть какой праздник покажется, а на поверку выйдет — последние копейки умыл и вовсе ни к чему. На другой день народ на работу, а в господском дому опять пировля. Да так и пошло. Поспят сколько да опять за гулянку. Ну, там, на лодках катаются, на лошадях в лес ездят, на музыках бренчат, да мало ли. А Паротя всё время пьяной. Нарочно к нему барин самых залихватских питухов поставил — накачивай-де до отказу! Ну, те и стараются новому барину подслужиться.

Паротя хоть пьяной, а чует, к чему дело клонится. Ему перед гостями неловко. Он и говорит за столом, при всех:

— Это мне безо внимания, что барин Турчанинов хочет у меня жену увести. Пущай повезёт! Мне такую не надо. У меня вот кто есть! — Да и достаёт из кармана тот шёлковый патрет. Все так и ахнули, а Паротина баба и рот закрыть не может. Барин тоже въелся глазами-то. Любопытно ему стало.

— Кто такая? — спрашивает.

Паротя, знай, похохатывает:

— Полон стол золота насыпь — и то не скажу!

Ну, а как не скажешь, коли заводские сразу Танюшку признали. Один перед другим стараются — барину объясняют. Паротина баба руками-ногами:

— Что вы! Что вы! Околесицу этаку городите! Откуда у заводской девки платье такое да ещё каменья дорогие? А патрет этот муж из-за границы привёз. Ещё до свадьбы мне показывал. Теперь с пьяных-то глаз, мало ли что сплетёт. Себя скоро помнить не будет. Ишь, опух весь!

Паротя видит, что жене шибко не мило, он и давай чехвостить:

— Страмина ты, страмина! Что ты косоплётки

плетёшь, барину в глаза песком бросашь! Какой я тебе патрет показывал? Здесь мне его шили. Та самая девушка, про которую они вон говорят. Насчёт платья — лгать не буду — не знаю. Платье какое хошь надеть можно. А камни у них были. Теперь у тебя в шкапу заперты. Сама же их купила за две тысячи да надеть не смогла. Видно, не подходит корове черкасско седло. Весь завод про покупку-то знает!

Барин как услышал про камни, так сейчас же:

— Ну-ко, покажи!

Он, слышь-ко, малоумненький был, мотоватый. Однем словом, наследник. К камням-то сильное пристрастие имел. Щегольнуть ему было нечем, — как говорится, ни росту, ни голосу, — так хоть каменьями. Где ни прослышит про хороший камень, сейчас купить ладится. И толк в камнях знал, даром что не шибко умный.

Паротина баба видит — делать нечего, — принесла шкатулку. Барин взглянул и сразу:

— Сколько?

Та и бухнула вовсе неслыханно. Барин рядиться. На половине сошлись, и заёмную бумагу барин подписал: не было, вишь, денег-то с собой. Поставил барин перед собой шкатулку на стол, да и говорит:

— Позовите-ко эту девку, про которую разговор.

Сбегали за Танюшкой. Она ничего, сразу пошла, — думала, заказ какой большой. Приходит в комнату, а там народу полно и посредине тот самый заяц, которого она тогда видела. Перед этим зайцем шкатулка — отцово подаренье. Танюшка сразу признала барина и спрашивает:

— Зачем звали?

Барин и слова сказать не может. Уставился на неё, да и всё. Потом всё ж таки нашёл разговор:

— Ваши камни?

— Были наши, теперь вон ихние, — и показала на Паротину жену.

— Мои теперь, — похвалился барин.

— Это дело ваше.

— А хошь, подарю обратно?

— Отдаривать нечем.

— Ну, а примерить на себя ты их можешь? Взглянуть мне охота, как эти камни на человеке придутся.

— Это, — отвечает Танюшка, — можно.

Взяла шкатулку, разобрала уборы, — привычно дело, — и живо их к месту пристроила. Барин глядит и только ахает. Ах да ах, больше и речей нет. Танюшка постояла в уборе-то и спрашивает:

— Поглядели? Будет? Мне ведь не от простой поры тут стоять — работа есть.

Барин тут при всех и говорит:

— Выходи за меня замуж. Согласна?

Танюшка только усмехнулась:

— Не под стать бы ровно барину такое говорить. — Сняла уборы и ушла. Только барин не отстаёт. На другой день свататься приехал. Просит-молит Настасью-то: отдай за меня дочь.

Настасья говорит:

— Я с неё воли не снимаю, как она хочет, а по-моему — будто не подходит.

Танюшка слушала-слушала, да и молвит:

— Вот что, не то… Слышала я, будто в царском дворце есть палата, малахитом тятиной добычи обделанная. Вот если ты в этой палате царицу мне покажешь — тогда выйду за тебя замуж.

Барин, конечно, на всё согласен. Сейчас же в Сам-Петербурх стал собираться и Танюшку с собой зовёт — лошадей, говорит, тебе предоставлю. А Танюшка отвечает:

— По нашему-то обряду и к венцу на женихових лошадях невеста не ездит, а мы ведь ещё никто. Потом уж об этом говорить будем, как ты своё обещанье выполнишь.

— Когда же, — спрашивает, — ты в Сам-Петер-

бурхе будешь?

— К Покрову, — говорит, — непременно буду. Об этом не сумлевайся, а пока уезжай отсюда.

Барин уехал, Паротину жену, конечно, не взял, не глядит даже на неё. Как домой в Сам-Петербурх-от приехал, давай по всему городу славить про камни и про свою невесту. Многим шкатулку-то показывал. Ну, сильно залюбопытствовали невесту посмотреть. К осеням-то барин квартиру Танюшке приготовил, платьев всяких навёз, обую, а она весточку и прислала, — тут она, живёт у такой-то вдовы на самой окраине.

Барин, конечно, сейчас же туда:

— Что вы! Мысленное ли дело тут проживать? Квартерка приготовлена, первый сорт!

А Танюшка отвечает:

— Мне и тут хорошо.

Слух про каменья да турчаниновску невесту и до царицы дошёл. Она и говорит:

— Пущай-ко Турчанинов покажет мне свою невесту. Что-то много про неё врут.

Барин к Танюшке, — дескать, приготовиться надо. Наряд такой сшить, чтобы во дворец можно, камни из малахитовой шкатулки надеть. Танюшка отвечает:

— О наряде не твоя печаль, а камни возьму

на подержанье. Да, смотри, не вздумай за мной лошадей посылать. На своих буду. Жди только меня у крылечка, во дворце-то.

Барин думает: откуда у ней лошади? где платье дворцовское? — а спрашивать все ж таки не насмелился.

Вот стали во дворец собираться. На лошадях все подъезжают, в шелках да бархатах. Турчанинов-барин спозаранку у крыльца вертится — невесту свою поджидает. Другим тоже любопытно на неё поглядеть, — тут же остановились. А Танюшка надела каменья, подвязалась платочком позаводски, шубейку свою накинула и идёт себе потихонечку. Ну, народ — откуда такая? — валом за ней валит. Подошла Танюшка ко дворцу, а царские лакеи не пущают — не дозволено, говорят, заводским-то. Турчанинов-барин издаля Танюшку завидел, только ему перед своими-то стыдно, что его невеста пешком, да ещё в экой шубейке, он взял да и спрятался. Танюшка тут распахнула шубейку, лакеи глядят — платье-то! У царицы такого нет! — сразу пустили. А как Танюшка сняла платочек да шубейку, все кругом сахнули:

— Чья такая? Каких земель царица?

А барин Турчанинов тут как тут.

— Моя невеста, — говорит.

Танюшка эдак строго на него поглядела:

— Это ещё вперёд поглядим! Пошто ты меня обманул — у крылечка не дождался?

Барин туда-сюда, — оплошка-де вышла. Извини, пожалуйста.

Пошли они в палаты царские, куда было велено. Глядит Танюшка — не то место. Ещё строже спросила Турчанинова-барина:

— Это ещё что за обман? Сказано тебе, что в той палате, которая малахитом тятиной работы обделана! — И пошла по дворцу-то, как дома. А сенаторы, генералы и протчи за ней.

— Что, дескать, такое? Видно, туда велено.

Народу набралось полным-полно, и все глаз с Танюшки не сводят, а она стала к самой малахитовой стенке и ждёт. Турчанинов, конечно, тут же. Лопочет ей, что ведь неладно, не в этом помещенье царица дожидаться велела. А Танюшка стоит спокойнёшенько, хоть бы бровью повела, будто барина вовсе нет.

Царица вышла в комнату-то, куда назначено. Глядит — никого нет. Царицыны наушницы и доводят — турчаниновска невеста всех в малахитову палату увела. Царица поворчала, конечно, — что за самовольство! Запотопывала ногами-то. Осердилась, значит, маленько.

Приходит царица в палату малахитову. Все ей кланяются, а Танюшка стоит — не шевельнётся.

Царица и кричит:

— Ну-ко, показывайте мне эту самовольницу — турчаниновску невесту!

Танюшка это услышала, вовсе брови свела, говорит барину:

— Это ещё что придумал! Я велела мне царицу показать, а ты подстроил меня ей показывать. Опять обман! Видеть тебя больше не хочу! Получи свои камни!

С этим словом прислонилась к стенке малахитовой и растаяла. Только и осталось, что на стенке камни сверкают, как прилипли к тем местам, где голова была, шея, руки.

Все, конечно, перепугались, а царица в беспамятстве на пол брякнула. Засуетились, поднимать стали. Потом, когда суматоха поулеглась, приятели и говорят Турчанинову:

— Подбери хоть камни-то! Живо разворуют. Не како-нибудь место — дворец! Тут цену знают!

Турчанинов и давай хватать те каменья. Какой схватит, тот у него и свернётся в капельку. Ина капля чистая, как вот слеза, ина жёлтая, а то опять, как кровь, густая. Так ничего и не собрал. Глядит — на полу пуговка валяется. Из бутылоч-

ного стекла, на простую грань. Вовсе пустяковая. С горя он и схватил её. Только взял в руку, а в этой пуговке, как в большом зеркале, зеленоглазая красавица в малахитовом платье, вся дорогими каменьями изукрашенная, хохочет-заливается:

— Эх ты, полоумный косой заяц! Тебе ли меня взять! Разве ты мне пара?

Барин после этого и последний умишко потерял, а пуговку не бросил. Нет-нет и поглядит в неё, а там всё одно: стоит зеленоглазая, хохочет и обидные слова говорит. С горя барин давай-ко пировать, долгов наделал, чуть при нём наши-то заводы с молотка не пошли.

А Паротя, как его отстранили, по кабакам пошёл. До ремков пропился, а патрет тот шёлковый берёг. Куда этот патрет потом девался — никому не известно.

Не поживилась и Паротина жена; поди-ко, получи по заёмной бумаге, коли все железо и медь заложены!

Про Танюшку с той поры в нашем заводе ни слуху ни духу. Как не было.

Погоревала, конечно, Настасья, да тоже не от силы. Танюшка-то, вишь, хоть радетельница для семьи была, а всё Настасье как чужая.

И то сказать, парни у Настасьи к тому времени

выросли. Женились оба. Внучата пошли. Народу в избе густенько стало. Знай, поворачивайся — за тем догляди, другому подай… До скуки ли тут!

Холостяжник — тот дольше не забывал. Всё под Настасьиными окошками топтался. Поджидали, не появится ли у окошечка Танюшка, да так и не дождались.

Потом, конечно, оженились, а нет-нет и помянут:

— Вот-де какая у нас в заводе девка была! Другой такой в жизни не увидишь.

Да ещё после этого случаю заметочка вышла. Сказывали, будто Хозяйка Медной горы двоиться стала: сразу двух девиц в малахитовых платьях люди видали.

Каменный цветок

Не одни мраморски на славе были по каменному-то делу. Тоже и в наших заводах, сказывают, это мастерство имели. Та только различка, что наши больше с малахитом вожгались, как его было довольно, и сорт — выше нет. Вот из этого малахиту и выделывали подходяще. Такие, слышь-ко, штучки, что диву дашься: как ему помогло.

Был в ту пору мастер Прокопьич. По этим делам первый. Лучше его никто не мог. В пожилых годах был.

Вот барин и велел приказчику поставить к этому Прокопьичу парнишек на выучку.

— Пущай-де переймут всё до тонкости.

Только Прокопьич, — то ли ему жаль было расставаться со своим мастерством, то ли ещё что, — учил шибко худо. Всё у него с рывка да с тычка. Насадит парнишке по всей голове шишек, уши чуть не оборвёт, да и говорит приказчику:

— Не гож этот… Глаз у него неспособный, рука не несёт. Толку не выйдет.

Приказчику, видно, заказано было ублаготворять Прокопьича.

— Не гож, так не гож… Другого дадим… — И

нарядит другого парнишку.

Ребятишки прослышали про эту науку… Спозаранку ревут, как бы к Прокопьичу не попасть. Отцам-матерям тоже не сладко родного дитёнка на зряшную муку отдавать, — выгораживать стали своих-то, кто как мог. И то сказать, нездорово это мастерство, с малахитом-то. Отрава чистая. Вот и оберегаются люди.

Приказчик всё ж таки помнит баринов наказ — ставит Прокопьичу учеников. Тот по своему порядку помытарит парнишку, да и сдаст обратно приказчику.

— Не гож этот…

Приказчик взъедаться стал:

— До какой поры это будет? Не гож да не гож, когда гож будет? Учи этого…

Прокопьич знай своё:

— Мне что… Хоть десять годов учить буду, а толку из этого парнишки не будет…

— Какого тебе ещё?

— Мне хоть и вовсе не ставь, — об этом не скучаю…

Так вот и перебрали приказчик с Прокопьичем много ребятишек, а толк один: на голове шишки, а в голове — как бы убежать. Нарочно которые портили, чтобы Прокопьич их прогнал.

Вот так-то и дошло дело до Данилки Недокормыша. Сиротка круглый был этот парнишечко. Годов, поди, тогда двенадцати, а то и боле. На ногах высоконький, а худой-расхудой, в чём душа держится. Ну, а с лица чистенький. Волосёнки кудрявеньки, глазёнки голубеньки. Его и взяли сперва в казачки при господском доме: Табакерку, платок подать, сбегать куда и протча. Только у этого сиротки дарованья к такому делу не оказалось. Другие парнишки на таких-то местах вьюнами вьются. Чуть что — навытяжку: что прикажете? А этот Данилко забьётся куда в уголок, уставится глазами на картину какую, а то на украшенье, да и стоит. Его кричат, а он и ухом не ведёт. Били, конечно, поначалу-то, потом рукой махнули:

— Блаженный какой-то! Тихоход! Из такого хорошего слуги не выйдет.

На заводскую работу либо в гору всё ж таки не отдали — шибко жидко место, на неделю не хватит. Поставил его приказчик в подпаски. И тут Данилко не вовсе гож пришёлся. Парнишечко ровно старательный, а всё у него оплошка выходит. Всё будто думает о чём-то. Уставится глазами на травинку, а коровы-то — вон где! Старый пастух ласковый попался, жалел сироту,

и тот временем ругался:

— Что только из тебя, Данилко, выйдет? Погубишь ты себя, да и мою старую спину под бой подведёшь. Куда это годится? О чём хоть думка-то у тебя?

— Я и сам, дедко, не знаю… Так… ни о чём… Засмотрелся маленько. Букашка по листочку ползла. Сама сизенька, а из-под крылышек у ней жёлтенько выглядывает, а листок широконький… По краям зубчики, вроде оборочки выгнуты. Тут потемнее показывает, а серёдка зелёная-презелёная, ровно её сейчас выкрасили… а букашка-то и ползёт.

— Ну, не дурак ли ты, Данилко? Твоё ли дело букашек разбирать? Ползёт она — и ползи, а твоё дело за коровами глядеть. Смотри у меня, выбрось эту дурь из головы, не то приказчику скажу!

Одно Данилушке далось. На рожке он играть научился — куда старику! Чисто на музыке какой. Вечером, как коров пригонят, девки-бабы просят:

— Сыграй, Данилушко, песенку.

Он и начнёт наигрывать. И песни всё незнакомые. Не то лес шумит, не то ручей журчит, пташки на всякие голоса перекликаются, а хорошо выходит. Шибко за те песенки стали женщины привечать Данилушку. Кто пониточек починит,

кто холста на онучи отрежет, рубашонку новую сошьёт. Про кусок и разговору нет, — каждая норовит дать побольше да послаще. Старику пастуху тоже Данилушковы песни по душе пришлись. Только и тут маленько неладно выходило. Начнёт Данилушко наигрывать и всё забудет, ровно и коров нет. На этой игре и пристигла его беда.

Данилушко, видно, заигрался, а старик задремал по малости. Сколько-то коровёнок у них и отбилось. Как стали на выгон собирать, глядят — той нет, другой нет. Искать кинулись, да где тебе. Пасли около Ельничной…

Самое тут волчье место, глухое… Одну только коровёнку и нашли. Пригнали стадо домой… Так и так обсказали. Ну, из завода тоже побежали-поехали на розыски, да не нашли.

Расправа тогда, известно, какая была. За всякую вину спину кажи. На грех ещё одна-то корова из приказчичьего двора была. Тут и вовсе спуску не жди. Растянули сперва старика, потом и до Данилушки дошло, а он худенький да тощенький. Господский палач оговорился даже:

— Экой-то, — говорит, — с одного разу сомлеет, а то и вовсе душу выпустит.

Ударил всё ж таки — не пожалел, а Данилушко

молчит. Палач его вдругорядь — молчит, втретьи — молчит. Палач тут и расстервенился, давай полысать со всего плеча, а сам кричит:

— Я тебя, молчуна, доведу… Дашь голос… Дашь!

Данилушко дрожит весь, слёзы каплют, а молчит. Закусил губёнку-то и укрепился. Так и сомлел, а словечка от него не слыхали. Приказчик, — он тут же, конечно, был, — удивился:

— Какой ещё терпеливый выискался! Теперь знаю, куда его поставить, коли живой останется.

Отлежался-таки Данилушко. Бабушка Вихориха его на ноги поставила. Была, сказывают, старушка такая. Заместо лекаря по нашим заводам на большой славе была. Силу в травах знала: которая от зубов, которая от надсады, которая от ломоты… Ну, всё как есть. Сама те травы собирала в самое время, когда какая трава полную силу имела. Из таких трав да корешков настойки готовила, отвары варила да с мазями мешала.

Хорошо Данилушке у этой бабушки Вихорихи ложилось. Старушка, слышь-ко, ласковая да словоохотливая, а трав да корешков, да цветков всяких у ней насушено да навешано по всей избе. Данилушко к травам-то любопытен — как эту зовут? где растёт? какой цветок? Старушка ему и

рассказывает.

Раз Данилушко и спрашивает:

— Ты, бабушка, всякий цветок в наших местах знаешь?

— Хвастаться, — говорит, — не буду, а все будто знаю, какие открытые-то.

— А разве, — спрашивает, — ещё не открытые бывают?

— Есть, — отвечает, — и такие. Папору вот слыхал? Она будто цветёт на Иванов день. Тот цветок колдовской. Клады им открывают. Для человека вредный. На разрыв-траве цветок — бегучий огонёк. Поймай его — и все тебе затворы открыты. Воровской это цветок. А то ещё каменный цветок есть. В малахитовой горе будто растёт. На змеиный праздник полную силу имеет. Несчастный тот человек, который каменный цветок увидит.

— Чем, бабушка, несчастный?

— А это, дитёнок, я и сама не знаю. Так мне сказывали.

Данилушко у Вихорихи, может, и подольше бы пожил, да приказчиковы вестовщики углядели, что парнишко мало-мало ходить стал, и сейчас к приказчику. Приказчик Данилушку призвал, да и говорит:

— Иди-ко теперь к Прокопьичу — малахитному

делу обучаться. Самая там по тебе работа.

Ну, что сделаешь? Пошёл Данилушко, а самого ещё ветром качает.

Прокопьич поглядел на него, да и говорит:

— Ещё такого недоставало. Здоровым парнишкам здешняя учёба не по силе, а с такого что взыщешь — еле живой стоит.

Пошёл Прокопьич к приказчику:

— Не надо такого. Ещё ненароком убьёшь — отвечать придётся.

Только приказчик — куда тебе, слушать не стал:

— Дано тебе — учи, не рассуждай! Он — этот парнишка — крепкий. Не гляди, что жиденький.

— Ну, дело ваше, — говорит Прокопьич, — было бы сказано. Буду учить, только бы к ответу не потянули.

— Тянуть некому. Одинокий этот парнишка, что хочешь с ним делай, — отвечает приказчик.

Пришёл Прокопьич домой, а Данилушко около станочка стоит, досочку малахитовую оглядывает. На этой досочке зарез сделан — кромку отбить. Вот Данилушко на это место уставился и головёнкой покачивает. Прокопьичу любопытно стало, что этот новенький парнишка тут разглядывает. Спросил строго, как по его правилу велось:

— Ты это что? Кто тебя просил поделку в руки брать? Что тут доглядываешь?

Данилушко и отвечает:

— На мой глаз, дедушко, не с этой стороны кромку отбивать надо. Вишь, узор тут, а его и срежут.

Прокопьич закричал, конечно:

— Что? Кто ты такой? Мастер? У рук не бывало, а судишь? Что ты понимать можешь?

— То и понимаю, что эту штуку испортили, — отвечает Данилушко.

— Кто испортил? а? Это ты, сопляк, мне — первому мастеру!.. Да я тебе такую порчу покажу… жив не будешь!

Пошумел так-то, покричал, а Данилушку пальцем не задел. Прокопьич-то, вишь, сам над этой досочкой думал — с которой стороны кромку срезать. Данилушко своим разговором в самую точку попал. Прокричался Прокопьич и говорит вовсе уж добром:

— Ну-ко, ты, мастер явленный, покажи, как, по-твоему, сделать?

Данилушко и стал показывать да рассказывать:

— Вот бы какой узор вышел. А того бы лучше — пустить досочку поуже, по чистому полю кромку отбить, только бы сверху плетешок малый

оставить.

Прокопьич, знай, покрикивает:

— Ну-ну… Как же! много ты понимаешь. Накопил — не просыпь! — А про себя думает: «Верно парнишка говорит. Из такого, пожалуй, толк будет. Только учить-то его как? Стукни разок — он и ноги протянет».

Подумал так, да и спрашивает:

— Ты хоть чей, экий учёный?

Данилушко и рассказал про себя.

Дескать, сирота. Матери не помню, а про отца и вовсе не знаю, кто был. Кличут Данилкой Недокормышем, а как отчество и прозванье отцовское — про то не знаю. Рассказал, как он в дворне был и за что его прогнали, как потом лето с коровьим стадом ходил, как под бой попал.

Прокопьич пожалел:

— Не сладко, гляжу, тебе, парень, житьишко-то задалось, а тут ещё ко мне попал. У нас мастерство строгое.

Потом будто рассердился, заворчал:

— Ну, хватит, хватит! Вишь, разговорчивый какой! Языком-то — не руками, — всяк бы работал. Целый вечер лясы да балясы! Ученичок тоже! Погляжу вот завтра, какой у тебя толк. Садись ужинать, да и спать пора.

Прокопьич одиночкой жил. Жена-то у него давно умерла. Старушка Митрофановна из соседей снаходу у него хозяйство вела. Утрами ходила постряпать, сварить чего, в избе прибрать, а вечерами Прокопьич сам управлял, что ему надо.

Поели, Прокопьич и говорит:

— Ложись вон тут, на скамеечке!

Данилушко разулся, котомку свою под голову, понитком закрылся, поёжился маленько, — вишь, холодно в избе-то было по осеннему времени, — всё ж таки вскорости уснул. Прокопьич тоже лёг, а уснуть не может: всё у него разговор о малахитовом узоре из головы нейдёт. Ворочался-ворочался, встал; зажёг свечку, да и к станку — давай эту малахитову досочку так и сяк примерять. Одну кромку закроет, другую… прибавит поле, убавит. Так поставит, другой стороной повернёт, и всё выходит, что парнишка лучше узор понял.

— Вот тебе и Недокормышек! — дивится Прокопьич. — Ещё ничем-ничего, а старому мастеру указал. Ну и глазок. Ну и глазок!

Пошёл потихоньку в чулан, притащил оттуда подушку да большой овчинный тулуп. Подсунул подушку Данилушке под голову, тулупом накрыл:

— Спи-ко, глазастый!

А тот и не проснулся, повернулся только на другой бочок, растянулся под тулупом-то — тепло ему стало — и давай насвистывать носом полегоньку. У Прокопьича своих ребят не бывало, этот Данилушко и припал ему к сердцу. Стоит мастер, любуется, а Данилушко, знай, посвистывает, спит себе спокойненько. У Прокопьича забота — как бы этого парнишку хорошенько на ноги поставить, чтоб не такой тощий да нездоровый был.

— С его ли здоровьишком нашему мастерству учиться. Пыль, отрава, — живо зачахнет. Отдохнуть бы ему сперва, подправиться, потом учить стану. Толк, видать, будет.

На другой день и говорит Данилушке:

— Ты спервоначалу по хозяйству помогать будешь. Такой уж у меня порядок заведён. Понял? Для первого разу сходи за калиной. Её иньями прихватило, — в самый раз она теперь на пироги. Да гляди, не ходи далеко-то. Сколь наберёшь — то и ладно. Хлеба возьми полишку, — ется в лесу-то, — да ещё к Митрофановне зайди. Говорил ей, чтоб тебе пару яичек испекла да молока в туесочек плеснула. Понял?

На другой день опять говорит:

— Поймай-ко ты мне щеглёнка поголосистее да

чечётку побойчее. Гляди, чтобы к вечеру были. Понял?

Когда Данилушко поймал и принёс, Прокопьич говорит:

— Ладно, да не вовсе. Лови других.

Так и пошло. На каждый день Прокопьич Данилушке работу даёт, а всё забава. Как снег выпал, велел ему с соседом за дровами ездить — пособишь-де. Ну, а какая подмога! Вперёд на санях сидит, лошадью правит, а назад за возом пешком идёт. Промнётся так-то, поест дома да и спит покрепче. Шубу ему Прокопьич справил, шапку тёплую, рукавицы, пимы на заказ скатали. Прокопьич, видишь, имел достаток. Хоть крепостной был, а по оброку ходил, зарабатывал маленько. К Данилушке-то он крепко прилип. Прямо сказать, за сына держал. Ну, и не жалел для него, а к делу своему не подпускал до времени. В хорошем-то житье Данилушко живо поправляться стал и к Прокопьичу тоже прильнул. Ну, как! — понял Прокопьичеву заботу, в первый раз так-то пришлось пожить. Прошла зима. Данилушке и вовсе вольготно стало. То он на пруд, то в лес. Только и к мастерству Данилушко присматривался. Прибежит домой, и сейчас же у них разговор. То, другое Прокопьичу расскажет, да и спрашивает

— это что да это как? Прокопьич объяснит, на деле покажет. Данилушко примечает. Когда и сам примется. «Ну-ко, я…» — Прокопьич глядит, поправит, когда надо, укажет, как лучше.

Вот как-то раз приказчик и углядел Данилушку на пруду. Спрашивает своих-то вестовщиков:

— Это чей парнишка? Который день его на пруду вижу… По будням с удочкой балуется, а уж не маленький… Кто-то его от работы прячет…

Узнали вестовщики, говорят приказчику, а он не верит.

— Ну-ко, — говорит, — тащите парнишку ко мне, сам дознаюсь.

Привели Данилушку. Приказчик спрашивает:

— Ты чей?

Данилушко и отвечает:

— В ученье, дескать, у мастера по малахитному делу.

Приказчик тогда хвать его за ухо:

— Так-то ты, стервец, учишься! — да за ухо и повёл к Прокопьичу.

Тот видит — неладно дело, давай выгораживать Данилушку:

— Это я сам его послал окуньков половить. Сильно о свеженьких-то окуньках скучаю. По нездоровью моему другой еды принимать не

могу. Вот и велел парнишке половить.

Приказчик не поверил. Смекнул тоже, что Данилушко вовсе другой стал: поправился, рубашонка на нём добрая, штанишки тоже и на ногах сапожнешки. Вот и давай проверку Данилушке делать:

— Ну-ко, покажи, чему тебя мастер выучил?

Данилушко запончик надел, подошёл к станку и давай рассказывать да показывать. Что приказчик спросит — у него на всё ответ готов. Как околтать камень, как распилить, фасочку снять, чем когда склеить, как полер навести, как на медь присадить, как на дерево. Однем словом, всё как есть.

Пытал-пытал приказчик, да и говорит Прокопьичу:

— Этот, видно, гож тебе пришёлся?

— Не жалуюсь, — отвечает Прокопьич.

— То-то не жалуешься, а баловство разводишь! Тебе его отдали мастерству учиться, а он у пруда с удочкой! Смотри! Таких тебе свежих окуньков отпущу — до смерти не забудешь, да и парнишке невесело станет.

Погрозился так-то, ушёл, а Прокопьич дивуется:

— Когда хоть ты, Данилушко, всё это понял?

Ровно я тебя ещё и вовсе не учил.

— Сам же, — говорит Данилушко, — показывал да рассказывал, а я примечал.

У Прокопьича даже слёзы закапали, — до того ему это по сердцу пришлось.

— Сыночек, — говорит, — милый, Данилушко… Что ещё знаю, всё тебе открою… Не потаю…

Только с той поры Данилушке не стало вольготного житья. Приказчик на другой день послал за ним и работу на урок стал давать. Сперва, конечно, попроще что: бляшки, какие женщины носят, шкатулочки. Потом с точкой пошло: подсвечники да украшенья разные. Там и до резьбы доехали. Листочки да лепесточки, узорчики да цветочки. У них ведь — у малахитчиков — дело мешкотное. Пустяковая ровно штука, а сколько он над ней сидит! Так Данилушко и вырос за этой работой.

А как выточил зарукавье-змейку из цельного камня, так его и вовсе мастером приказчик признал. Барину об этом отписал:

«Так и так, объявился у нас новый мастер по малахитному делу — Данилко Недокормыш! Работает хорошо, только по молодости ещё тихо. Прикажете на уроках его оставить али, как и Прокопьича, на оброк отпустить?»

Работал Данилушко вовсе не тихо, а на диво ловко да скоро. Это уж Прокопьич тут сноровку поимел. Задаст приказчик Данилушке какой урок на пять дён, а Прокопьич пойдёт, да и говорит:

— Не в силу это. На такую работу полмесяца надо. Учится ведь парень. Поторопится — только камень без пользы изведёт.

Ну, приказчик поспорит сколько, а дней, глядишь, прибавит. Данилушко и работал без большой натуги. Поучился даже потихоньку от приказчика читать, писать. Так, самую малость, а всё ж таки разумел грамоте. Прокопьич ему в этом тоже споровлял. Когда и сам наладится приказчиковы уроки за Данилушку делать, только Данилушко этого не допускал:

— Что ты! Что ты, дяденька! Твоё ли дело за меня у станка сидеть! Смотри-ка, у тебя борода позеленела от малахиту, здоровьем скудаться стал, а мне что делается?

Данилушко и впрямь к той поре выправился. Хоть по старинке его Недокормышем звали, а он вон какой! Высокий да румяный, кудрявый да весёлый. Однем словом, сухота девичья. Прокопьич уж стал с ним про невест заговаривать, а Данилушко, знай, головой потряхивает:

— Не уйдёт от нас! Вот мастером настоящим

стану, тогда и разговор будет.

Барин на приказчиково известие отписал: «Пусть тот Прокопьичев выученик Данилко сделает ещё точёную чашу на ножке для моего дому. Тогда погляжу — на оброк отпустить али на уроках держать. Только ты гляди, чтобы Прокопьич тому Данилке не пособлял. Недоглядишь — с тебя взыск будет».

Приказчик получил это письмо, призвал Данилушку, да и говорит:

— Тут, у меня, работать будешь. Станок тебе наладят, камню привезут, какой надо.

Прокопьич узнал, запечалился: как так? что за штука? Пошёл к приказчику, да разве он скажет… Закричал только: «Не твоё дело!»

Ну, вот пошёл Данилушко работать на новое место, а Прокопьич ему наказывает:

— Ты, гляди, не торопись, Данилушко! Не оказывай себя.

Данилушко сперва остерегался. Примеривал да прикидывал больше, да тоскливо ему показалось. Делай — не делай, а срок отбывай — сиди у приказчика с утра до ночи. Ну, Данилушко от скуки и сорвался на полную силу. Чаша-то у него живой рукой и вышла из дела. Приказчик поглядел, будто так и надо, да и говорит:

— Ещё такую же делай!

Данилушко сделал другую, потом третью. Вот когда он третью-то кончил, приказчик и говорит:

— Теперь не увернёшься! Поймал я вас с Прокопьичем. Барин тебе, по моему письму, срок для одной чаши дал, а ты три выточил. Знаю твою силу. Не обманешь больше, а тому старому псу покажу, как потворствовать! Другим закажет!

Так об этом и барину написал и чаши все три предоставил. Только барин, — то ли на него умный стих нашёл, то ли он на приказчика за что сердит был — всё как есть наоборот повернул.

Оброк Данилушке назначил пустяковый, не велел парня от Прокопьича брать — может-де вдвоём-то скорее придумают что новенькое. При письме чертёж послал. Там тоже чаша нарисована со всякими штуками. По ободку кайма резная, на поясе лента каменная со сквозным узором, на подножке листочки. Однем словом, придумано. А на чертеже барин подписал: «Пусть хоть пять лет просидит, а чтобы такая в точности сделана была».

Пришлось тут приказчику от своего слова отступить. Объявил, что барин написал, отпустил Данилушку к Прокопьичу и чертёж отдал.

Повеселели Данилушко с Прокопьичем, и работа у них бойчее пошла. Данилушко вскоре за ту новую чашу принялся. Хитрости в ней многое множество. Чуть неладно ударил, — пропала работа, снова начинай. Ну, глаз у Данилушки верный, рука смелая, силы хватает — хорошо идёт дело. Одно ему не по нраву — трудности много, а красоты ровно и вовсе нет. Говорил Прокопьичу, а он только удивился:

— Тебе-то что? Придумали — значит, им надо. Мало ли я всяких штук выточил да вырезал, а куда они — толком и не знаю.

Пробовал с приказчиком поговорить, так куда тебе. Ногами затопал, руками замахал:

— Ты очумел? За чертёж большие деньги плачены. Художник, может, по столице первый его делал, а ты пересуживать выдумал!

Потом, видно, вспомнил, что барин ему заказывал, — не выдумают ли вдвоём-то чего новенького, — и говорит:

— Ты вот что… делай эту чашу по барскому чертежу, а если другую от себя выдумаешь — твоё дело. Мешать не стану. Камня у нас, поди-ко, хватит. Какой надо — такой и дам.

Тут вот Данилушке думка и запала. Не нами сказано — чужое охаять мудрости немного надо,

а своё придумать — не одну ночку с боку на бок повертишься. Вот Данилушко сидит над этой чашей по чертежу-то, а сам про другое думает. Переводит в голове, какой цветок, какой листок к малахитовому камню лучше подойдёт. Задумчивый стал, невесёлый. Прокопьич заметил, спрашивает:

— Ты, Данилушко, здоров ли? Полегче бы с этой чашей. Куда торопиться? Сходил бы в разгулку куда, а то всё сидишь да сидишь.

— И то, — говорит Данилушко, — в лес хоть сходить. Не увижу ли, что мне надо.

С той поры и стал чуть не каждый день в лес бегать. Время как раз покосное, ягодное. Травы все в цвету. Данилушко остановится где на покосе либо на полянке в лесу и стоит, смотрит. А то опять ходит по покосам да разглядывает траву-то, как ищет что. Людей в ту пору в лесу и на покосах много. Спрашивают Данилушку — не потерял ли чего? Он улыбнется этак невесело, да и скажет:

— Потерять не потерял, а найти не могу.

Ну, которые и запоговаривали:

— Неладно с парнем.

А он придёт домой и сразу к станку да до утра и сидит, а с солнышком опять в лес да на покосы. Листки да цветки всякие домой притаскивать

стал, а всё больше из объеди: черемицу да омег, дурман да багульник, да резуны всякие. С лица спал, глаза беспокойные стали, в руках смелость потерял. Прокопьич вовсе забеспокоился, а Данилушко и говорит:

— Чаша мне покою не дает. Охота так её сделать, чтобы камень полную силу имел.

Прокопьич давай отговаривать:

— На что она тебе далась? Сыты ведь, чего ещё? Пущай бары тешатся, как им любо. Нас бы только не задевали. Придумают какой узор — сделаем, а навстречу-то им зачем лезть? Лишний хомут надевать — только и всего.

Ну, Данилушко на своём стоит.

— Не для барина, — говорит, — стараюсь. Не могу из головы выбросить ту чашу. Вижу, подико, какой у нас камень, а мы что с ним делаем? Точим да режем, да полер наводим и вовсе ни к чему. Вот мне и припало желанье так сделать, чтобы полную силу камня самому поглядеть и людям показать.

По времени отошёл Данилушко, сел опять за ту чашу, по барскому-то чертежу. Работает, а сам посмеивается:

— Лента каменная с дырками, каёмочка резная…

Потом вдруг забросил эту работу. Другое начал. Без передышки у станка стоит. Прокопьичу сказал:

— По дурман-цветку свою чашу делать буду.

Прокопьич отговаривать принялся. Данилушко сперва и слушать не хотел, потом, дня через три-четыре, как у него какая-то оплошка вышла, и говорит Прокопьичу:

— Ну ладно. Сперва барскую чашу кончу, потом за свою примусь. Только ты уж тогда меня не отговаривай… Не могу её из головы выбросить.

Прокопьич отвечает:

— Ладно, мешать не стану, — а сам думает: «Уходится парень, забудет. Женить его надо. Вот что! Лишняя дурь из головы вылетит, как семьёй обзаведётся».

Занялся Данилушко чашей. Работы с ней много — в один год не укладёшь. Работает усердно, про дурман-цветок не поминает. Прокопьич и стал про женитьбу заговаривать:

— Вот хоть бы Катя Летемина — чем не невеста? Хорошая девушка… Похаять нечем.

Это Прокопьич-то от ума говорил. Он, вишь, давно заприметил, что Данилушко на эту девушку сильно поглядывал. Ну и она не отворачивалась. Вот Прокопьич, будто ненароком, и заводил раз-

говор. А Данилушко своё твердит:

— Погоди! Вот с чашкой управлюсь. Надоела мне она. Того и гляди — молотком стукну, а он про женитьбу! Уговорились мы с Катей. Подождёт она меня.

Ну, сделал Данилушко чашу по барскому чертежу. Приказчику, конечно, не сказали, а дома у себя гулянку маленькую придумали сделать. Катя — невеста-то — с родителями пришла, ещё которые… из мастеров же малахитных больше. Катя дивится на чашу.

— Как, — говорит, — только ты ухитрился узор такой вырезать и камня нигде не обломил! До чего всё гладко да чисто обточено!

Мастера тоже одобряют:

— В аккурат-де по чертежу. Придраться не к чему. Чисто сработано. Лучше не сделать, да и скоро. Так-то работать станешь — пожалуй, нам тяжело за тобой тянуться.

Данилушко слушал-слушал, да и говорит:

— То и горе, что похаять нечем. Гладко да ровно, узор чистый, резьба по чертежу, а красота где? Вон цветок… самый что ни есть плохонький, а глядишь на него — сердце радуется. Ну, а эта чаша кого обрадует? На что она? Кто поглядит, всяк, как вон Катенька, подивится, какой-де у мастера

глаз да рука, как у него терпенья хватило нигде камень не обломить.

— А где оплошал, — смеются мастера, — там подклеил да полером прикрыл, и концов не найдёшь.

— Вот-вот… А где, спрашиваю, красота камня? Тут прожилка прошла, а ты на ней дырки сверлишь да цветочки режешь. На что они тут? Порча ведь это камня. А камень-то какой! Первый камень! Понимаете, первый!

Горячиться стал. Выпил, видно, маленько.

Мастера и говорят Данилушке, что ему Прокопьич не раз говоривал:

— Камень — камень и есть. Что с ним сделаешь? Наше дело такое — точить да резать.

Только был тут старичок один. Он ещё Прокопьича и тех — других-то мастеров — учил. Все его дедушком звали. Вовсе ветхий старичоночко, а тоже этот разговор понял, да и говорит Данилушке:

— Ты, милый сын, по этой половице не ходи! Из головы выброс! А то попадёшь к Хозяйке в горные мастера…

— Какие мастера, дедушко?

— А такие… в горе живут, никто их не видит… Что Хозяйке понадобится, то они и сделают. Слу-

чилось мне раз — видеть. Вот работа! От нашей, от здешней, на отличку.

Всем любопытно стало. Спрашивают, — какую поделку видел.

— Да змейку, — говорит, — ту же, какую вы на зарукавье точите.

— Ну и что? Какая она?

— От здешних, говорю, на отличку. Любой мастер увидит, сразу узнает — не здешняя работа. У наших змейка, сколь чисто ни выточат, каменная, а тут как есть живая. Хребтик чёрненький, глазки… Того и гляди — клюнет. Им ведь что! Они цветок каменный видали, красоту поняли.

Данилушко, как услышал про каменный цветок, давай спрашивать старика. Тот по совести сказал:

— Не знаю, милый сын, слыхал, что есть такой цветок. Видеть его нашему брату нельзя. Кто поглядит, тому белый свет не мил станет.

Данилушко на это и говорит:

— Я бы поглядел.

Тут Катенька, невеста-то его, так и затрепыхалась:

— Что ты, что ты, Данилушко! Неуж тебе белый свет наскучил? — да в слёзы. Прокопьич и другие мастера сметили дело, давай старого мастера на

смех подымать:

— Выживаться из ума, дедушко, стал. Сказки сказываешь. Парня зря с пути сбиваешь.

Старик разгорячился, по столу стукнул:

— Есть такой цветок! Парень правду говорит: камень мы не разумеем. В том цветке красота показана.

Мастера смеются:

— Хлебнул, дедушко, лишка!

А он своё:

— Есть каменный цветок!

Разошлись гости, а у Данилушки тот разговор из головы не выходит. Опять стал в лес бегать да около своего дурман-цветка ходить, а про свадьбу и не поминает. Прокопьич уж понуждать стал:

— Что ты девушку позоришь? Который год она в невестах ходить будет? Того и жди — пересмеивать её станут. Мало смотниц-то?

Данилушко одно своё:

— Погоди ты маленько! Вот только придумаю да камень подходящий подберу.

И повадился он на медный рудник — на Гумешки-то. Когда в шахту спустится, по забоям обойдёт, когда наверху камни перебирает. Раз как-то поворотил камень, оглядел его, да и говорит:

— Нет, не тот…

Только это промолвил, кто-то и говорит:

— В другом месте поищи… у Змеиной горки.

Глядит Данилушко, — никого нет. Кто бы это? Шутят, что ли… Будто и спрятаться негде. Поогляделся ещё, пошёл домой, а вслед ему опять:

— Слышишь, Данило-мастер? У Змеиной горки, говорю.

Оглянулся Данилушко, — женщина какая-то чуть видна, как туман голубенький. Потом ничего не стало.

«Что, — думает, — за штука? Неуж сама? А что, если сходить на Змеиную-то?»

Змеиную горку Данилушко хорошо знал. Тут же она была, недалеко от Гумешек. Теперь её нет, давно всю срыли, а раньше камень поверху брали.

Вот на другой день и пошёл туда Данилушко. Горка хоть небольшая, а крутенькая. С одной стороны и вовсе как срезано. Глядельце тут первосортное. Все пласты видно, лучше некуда.

Подошёл Данилушко к этому глядельцу, а тут малахитина выворочена. Большой камень — на руках не унести — и будто обделан вроде кустика. Стал оглядывать Данилушко эту находку. Всё, как ему надо: цвет снизу погуще, прожилки на тех самых местах, где требуется… Ну, всё, как

есть… Обрадовался Данилушко, скорей за лошадью побежал, привёз камень домой, говорит Прокопьичу:

— Гляди-ко, камень какой! Ровно нарочно для моей работы. Теперь живо сделаю. Тогда и жениться. Верно, заждалась меня Катенька. Да и мне это нелегко. Вот только эта работа меня и держит. Скорее бы её кончить!

Ну, и принялся Данилушко за тот камень. Ни дня, ни ночи не знает. А Прокопьич помалкивает. Может, угомонится парень, как охотку стешит. Работа ходко идёт. Низ камня отделал. Как есть, слышь-ко, куст дурмана. Листья широкие кучкой, зубчики, прожилки — всё пришлось лучше нельзя. Прокопьич и то говорит — живой цветок-от хоть рукой пощупать. Ну, а как до верху дошёл — тут заколодило. Стебелёк выточил, боковые листики тонёхоньки — как только держатся! Чашку, как у дурман-цветка, а не то… Неживой стал и красоту потерял. Данилушко тут и сна лишился. Сидит над этой своей чашей, придумывает, как бы поправить, лучше сделать. Прокопьич и другие мастера, кои заходили поглядеть, дивятся, — чего ещё парню надо? Чаша вышла — никто такой не делывал, а ему неладно. Умуется парень, лечить его надо. Катенька слышит, что люди

говорят, — поплакивать стала. Это Данилушку и образумило.

— Ладно, — говорит, — больше не буду. Видно, не подняться мне выше-то, не поймать силу камня. — И давай сам торопить со свадьбой. Ну, а что торопить, коли у невесты давным-давно всё готово. Назначили день. Повеселел Данилушко. Про чашу-то приказчику сказал. Тот прибежал, глядит — вот штука какая! Хотел сейчас эту чашу барину отправить, да Данилушко говорит:

— Погоди маленько, доделка есть.

Время осеннее было. Как раз около Змеиного праздника свадьба пришлась. К слову, кто-то и помянул про это — вот-де скоро змеи все в одно место соберутся. Данилушко эти слова на приметку взял. Вспомнил опять разговоры о малахитовом цветке. Так его и потянуло: «Не сходить ли последний раз к Змеиной горке? Не узнаю ли там чего?» — и про камень припомнил: «Ведь как положенный был! И голос на руднике-то… про Змеиную же горку говорил».

Вот и пошёл Данилушко. Земля тогда уже подмерзать стала, и снежок припорашивал. Подошёл Данилушко ко крутику, где камень брал, глядит, а на том месте выбоина большая, будто камень ломали. Данилушко о том не подумал, кто это

камень ломал, зашёл в выбоину. «Посижу, — думает, — отдохну за ветром. Потеплее тут». Глядит — у одной стены камень серовик, вроде стула. Данилушко тут и сел, задумался, в землю глядит, и всё цветок тот каменный из головы нейдёт. «Вот бы поглядеть!» Только вдруг тепло стало, ровно лето воротилось. Данилушко поднял голову, а напротив, у другой-то стены, сидит Медной горы Хозяйка. По красоте-то да по платью малахитову Данилушко сразу её признал. Только и то думает:

«Может, мне это кажется, а на деле никого нет». Сидит — молчит, глядит на то место, где Хозяйка, и будто ничего не видит. Она тоже молчит, вроде как призадумалась. Потом и спрашивает:

— Ну что, Данило-мастер, не вышла твоя дурман-чаша?

— Не вышла, — отвечает.

— А ты не вешай голову-то! Другое попытай. Камень тебе будет, по твоим мыслям.

— Нет, — отвечает, — не могу больше. Измаялся весь, не выходит. Покажи каменный цветок.

— Показать-то, — говорит, — просто, да потом жалеть будешь.

— Не отпустишь из горы?

— Зачем не отпущу! Дорога открыта, да только

ко мне же ворочаются.

— Покажи, сделай милость!

Она ещё его уговаривала:

— Может, ещё попытаешь сам добиться! — Про Прокопьича тоже помянула: — Он-де тебя пожалел, теперь твой черёд его пожалеть. — Про невесту напомнила: — Души в тебе девка не чает, а ты на сторону глядишь.

— Знаю я, — кричит Данилушко, — а только без цветка мне жизни нет. Покажи!

— Когда так, — говорит, — пойдём, Данило-мастер, в мой сад.

Сказала и поднялась. Тут и зашумело что-то, как осыпь земляная. Глядит Данилушко, а стен никаких нет. Деревья стоят высоченные, только не такие, как в наших лесах, а каменные. Которые мраморные, которые из змеевика-камня… Ну, всякие… Только живые, с сучками, с листочками. От ветру-то покачиваются и голк дают, как галечками кто подбрасывает. Понизу трава, тоже каменная. Лазоревая, красная… разная… Солнышка не видно, а светло, как перед закатом. Промеж деревьев-то змейки золотенькие трепыхаются, как пляшут. От них и свет идёт.

И вот подвела та девица Данилушку к большой полянке. Земля тут, как простая глина, а по

ней кусты чёрные, как бархат. На этих кустах большие зелёные колокольцы малахитовы и в каждом сурьмяная звёздочка. Огневые пчёлки над теми цветками сверкают, а звёздочки тонёхонько позванивают, ровно поют.

— Ну, Данило-мастер, поглядел? — спрашивает Хозяйка.

— Не найдёшь, — отвечает Данилушко, — камня, чтобы так-то сделать.

— Кабы ты сам придумал, дала бы тебе такой камень, а теперь не могу. — Сказала и рукой махнула. Опять зашумело, и Данилушко на том же камне, в ямине-то этой оказался. Ветер так и свистит. Ну, известно, осень.

Пришёл Данилушко домой, а в тот день как раз у невесты вечеринка была. Сначала Данилушко весёлым себя показывал — песни пел, плясал, а потом и затуманился. Невеста даже испугалась:

— Что с тобой? Ровно на похоронах ты!

А он и говорит:

— Голову разломило. В глазах чёрное с зелёным да красным. Света не вижу.

На этом вечеринка и кончилась. По обряду невеста с подружками провожать жениха пошла. А много ли дороги, коли через дом либо через два жили. Вот Катенька и говорит:

— Пойдёмте, девушки, кругом. По нашей улице до конца дойдём, а по Еланской воротимся.

Про себя думает: «Пообдует Данилушку ветром, — не лучше ли ему станет».

А подружкам что… Рады-радёхоньки.

— И то, — кричат, — проводить надо. Шибко он близко живёт — провожальную песню ему по-доброму вовсе не певали.

Ночь-то тихая была, и снежок падал. Самое для разгулки время. Вот они и пошли. Жених с невестой попереду, а подружки невестины с холостяжником, который на вечеринке был, поотстали маленько. Завели девки эту песню провожальную. А она протяжно да жалобно поётся, чисто по покойнику. Катенька видит — вовсе ни к чему это: «И без того Данилушко у меня невесёлый, а они ещё такое причитанье петь придумали».

Старается отвести Данилушку на другие думки. Он разговорился было, да только скоро опять запечалился. Подружки Катенькины тем временем провожальную кончили, за весёлые принялись. Смех у них да беготня, а Данилушко идёт, голову повесил. Сколь Катенька ни старается, не может развеселить. Так и до дому дошли. Подружки с холостяжником стали расходиться — кому куда, а

Данилушко уж без обряду невесту свою проводил и домой пошёл.

Прокопьич давно спал. Данилушко потихоньку зажёг огонь, выволок свои чаши на середину избы и стоит, оглядывает их. В это время Прокопьича кашлем бить стало. Так и надрывается. Он, вишь, к тем годам вовсе нездоровый стал. Кашлем-то этим Данилушку, как ножом по сердцу, резнуло. Всю прежнюю жизнь припомнил. Крепко жаль ему старика стало. А Прокопьич прокашлялся, спрашивает:

— Ты что это с чашами-то?

— Да вот гляжу, не пора ли сдавать?

— Давно, — говорит, — пора. Зря только место занимают. Лучше всё равно не сделаешь.

Ну, поговорили ещё маленько, потом Прокопьич опять уснул. И Данилушко лёг, только сна ему нет и нет. Поворочался-поворочался, опять поднялся, зажёг огонь, поглядел на чаши, подошёл к Прокопьичу. Постоял тут над стариком-то, повздыхал…

Потом взял балодку да как ахнет по дурман-цветку, — только схрупало. А ту чашу, — по барскому-то чертежу, — не пошевелил! Плюнул только в середку и выбежал. Так с той поры Данилушку и найти не могли.

Кто говорил, что он ума решился, в лесу загинул, а кто опять сказывал — Хозяйка взяла его в горные мастера.

На деле по-другому вышло. Про то дальше сказ будет.

Алексей Николаевич Толстой (1883–1945)

Русалка

Во льду дед Семён бьёт прорубь — рыбку ловить. Прорубь не простая — налажена с умом.

Дед обчертил пешней круг на льду, проколупал яму, посередине наладил изо льда же кольцо, а внутри его ударил пешней.

Хлынула спёртая, студёная вода, до краёв наполнила прорубь.

С водой вошли рыбки — снеток, малявка, плотва. Вошли, поплавали, а назад нет ходу — не пускает кольцо.

Посмеялся своей хитрости дед Семён, приладил сбоку к проруби канавку — сачок заводить и пошёл домой, ждать ночи — когда и большая рыбина в прорубь заходит.

Убрал дед Семён лошадь и овцу — всё своё хозяйство — и полез на печь.

А жил он вдвоём со старым котом на краю села в мазанке.

Кот у деда под мышкой песни запел, тыкался мокрым носом в шею.

— Что ты, неугомонный, — спрашивал дед, — или мышей давно не нюхал?

Кот ворочался, старался выговорить на коша-

чьем языке не понять что.

«Пустяки», — думает дед, а сна нет как нет.

Проворочался до полуночи, взял железный фонарь, сачок, ведро и пошёл на речку.

Поставил у проруби железный фонарь, стал черенком постукивать по льду.

— Ну-ка, рыбка, плыви на свет.

Потом разбил тонкий ледок, завёл сачок и вытянул его полный серебряной рыбёшки.

«Что за диво, — думает дед, — никогда столько рыбы не лавливал. Да смирная какая, не плещется».

Завёл и ещё столько же вытянул. Глазам не верит: «Нам с котом на неделю едева не проесть».

Посветил фонарём в прорубь — и видит, на дне около кольца лежит тёмная рыбина.

Распоясался дед Семён, снял полушубок, рукава засучил, наловчился да руками под водой и ухватил рыбину.

А она хвостом не бьёт, — смирная.

Завернул дед рыбу в полу, подхватил ведро с малявками и домой…

— Ну, — говорит, — котище, поедим на старости до отвала, смотри…

И вывалил из полы на стол.

И на столе вытянула зелёный плёс, руки сложи-

ла, спит русалка, личико — спокойное, детское…

Дед — к двери, ведро уронил, а дверь забухла, — не отворяется.

Русалка спит…

Обошёлся дед понемногу; пододвинулся поближе, потрогал — не кусается, и грудь у неё дышит, как у человека.

Старый кот рыбу рассыпанную не ест, на русалку смотрит, — горят котовские глаза.

Набрал дед тряпья, в углу на печке гнездо устроил, в головах шапку старую положил, отнёс туда русалку, а чтобы тараканы не кусали — прикрыл решетом.

И сам на печку залез, да не спится.

Кот ходит, на решето глядит…

Всю ночь проворочался старый дед; поутру скотину убрал да опять к печке: русалка спит; кот от решета не отходит.

Задумался дед; стал щи из снетков варить, горшок валится, чаду напустил… Вдруг чихнуло…

— Кот, это ты? — спрашивает дед.

Глянул под решето, а у русалки открытые глаза, — светятся. Пошевелила губами:

— Что это ты, дед, как чадишь, не люблю я чаду.

— А я сейчас, — заторопился дед, окно поднял, а

горшок с недоваренными щами вынес за дверь.

— Проснулась? А я тебя было за щуку опознал.

Половина дня прошла, сидят дед и кот голодные.

Русалка говорит:

— Дед Семён, я есть хочу.

— А я сейчас, вот только, — дед помялся, — хлебец ржаной у меня, больше ничего нет.

— Я леденцов хочу.

— Сейчас я, сейчас… — Вышел дед на двор и думает: «Продам овцу, — куда мне овца? Куплю леденцов…»

Сел на лошадь, овцу через шею перекинул, поскакал в село.

К вечеру вернулся с леденцами.

Русалка схватила в горсть леденцов — да в рот, так все и съела, а наевшись, заснула…

Кот сидел на краю печки, злой, урчал.

Приходит к деду внучонок Федька, говорит:

— Сплети, дед, мочальный кнут…

Отказать нельзя. Принялся дед кнут вить, хоть и не забавно, как раньше бывало.

Глаза старые, за всем не углядишь, а Федька на печку да к решету.

— Деда, а деда, что это? — кричит Федька и тянет русалку за хвост… Она кричит, руками

хватается за кирпичи.

— Ах ты, озорник! — Никогда так не сердился дед Семён; отнял русалку, погладил, а Федьку мочальным кнутом: — Не балуй, не балуй…

Басом ревел Федька:

— Никогда к тебе не приду…

— И не надо.

Замкнулся дед, никого в избу не пускал, ходил мрачный. А мрачнее деда — старый рыжий кот…

— Ох, недоброе кот задумал, — говорил дед.

Кот молчал.

А русалка просыпалась, клянчила то леденцов, то янтарную нитку. Или ещё выдумала:

— Хочу самоцветных камушков, хочу наряжаться.

Нечего делать — продал дед лошадь, принёс из города сундучок камушков и янтарную нитку.

— Поиграй, поиграй, золотая, посмейся.

Утром солнце на печь глядело, сидела русалка, свесив зелёный плёс с печи, пересыпала камушки из ладони в ладонь, смеялась.

Дед улыбался в густые усы, думал: «Век бы на неё просмотрел».

А кот ходил по пустому хлеву и мяукал хриплым мявом, словно детей хоронил. Потом прокрался в избу. Шерсть дыбом, глаза дикие.

Дед лавку мыл; солнце поднималось, уходило из избы…

— Дед, дед! — закричала русалка. — Разбери крышу, чтобы солнце весь день на меня светило.

Не успел дед повернуться, а кот боком махнул на печь, повалил русалку, искал усатой мордой тонкое горло.

Забилась русалка, вывёртывается. Дед на печь, оттащил кота.

— Удуши кота, удуши кота, — плачет русалка.

— Кота-то удушить? — говорит дед. — Старого!..

— Он меня съест.

Скрутил дед тонкую бечёвку, помазал салом, взял кота, пошёл в хлев.

Бечёвку через балку перекинул, надел на кота петлю:

— Прощай, старичок…

Кот молчал, зажмурил глаза.

Ключ от хлева дед бросил в колодезь.

А русалка долго на этот раз спала: должно быть, с перепугу.

Прошла зима. Река разломала лёд, два раза прорывала плотину, насилу успокоилась.

Зазеленела на буграх куриная слепота, запахло берёзами, и девушки у реки играли в горелки,

пели песни.

Дед Семён окно раскрыл; пахучий, звонкий от песен ветер ворвался в низкую избу.

Молча соскочила с печи русалка, поднялась на руках.

Глядит в окно, не сморгнёт, высоко дышит грудь.

— Дед, дед, возьми меня: я к девушкам хочу.

— Как же мы пойдём, засмеют они нас.

— Я хочу, возьми меня. — Натёрла глаза и заплакала.

Дед смекнул.

Положил русалку за пазуху, пошёл на выгон, где девушки хоровод водили.

— Посмотрите-ка, — закричали девушки, — старый приплёлся!..

Дед было барахтаться… Ничего не помогло — кричат, смеются, за бороду тянут. От песен, от смеха закружилась стариковская голова.

А солнышко золотое, ветер степной…

И за самое сердце укусила зубами русалка старого деда, — впилась…

Замотал дед головой да — к речке бегом бежать…

А русалка просунула пальцы под рёбра, раздвинула, вцепилась зубами ещё раз. Заревел дед и

пал с крутого берега в омут.

С тех пор по ночам выходит из омута, стоит над водой седая его голова, мучаясь, открывает рот.

Да мало что наплести можно про старого деда!

Ведьмак

На пне сидит ведьмак, звёзды считает когтем — раз, два, три, четыре… Голова у ведьмака собачья и хвост здоровенный, голый.

…Пять, шесть, семь… И гаснут звёзды, а вместо них на небе появляются чёрные дырки. Их-то и нужно ведьмаку — через дырки с неба дождик льётся.

А дождик с неба — хмара и темень на земле.

Рад тогда ведьмак: идёт на деревню людям вредить.

Долго ведьмак считал, уж и мозоль на когте села.

Вдруг приметил его пьяненький портной: «Ах ты, говорит, гад!» И побежал за кусты к месяцу — жаловаться. Вылетел из-за сосен круглый месяц, запрыгал над ведьмаком — не даёт ему звёзд тушить. Нацелится ведьмак когтем на звезду, а месяц — тут как тут, и заслонит.

Рассердился ведьмак, хвостом закрутил — месяц норовит зацепить и клыки оскалил.

Притихло в лесу. А месяц нацелился — да как хватит ведьмака по зубам…

Щёлкнул собачьей пастью ведьмак, откусил

половину у месяца и проглотил.

Взвился месяц ущербный, свету невзвидел, укрылся за облако.

А ведьмак жалобно завыл, и посыпались с деревьев листочки.

У ведьмака в животе прыгает отгрызанный месяц, жжёт; вертится юлой ведьмак, и так и сяк — нет покоя…

Побежал к речке и бултыхнулся в воду… Расплескалась серебряна вода. Лёг ведьмак на прохладном дне. Корчится. Подплывают русалки стайкой, как пескари, маленькие… Уставились, шарахнулись, подплыли опять и говорят:

— Выплюнь, выплюнь месяц-то.

Понатужился ведьмак, выплюнул, повыл немножко и подох.

А русалки ухватили голубой месяц и потащили в самую пучину.

На дне речки стало светло, ясно и весело. А месяц, что за тучей сидел, вырастил новый бок, пригладился и поплыл между звёзд по синему небу.

Не впервые ясному бока выращивать.

Соломенный жених

Внизу овина, где зажигают теплины, в углу тёмного подглаза лежит, засунув морду в земляную нору, чёрный кот.

Не кот это, а овинник.

Лежит, хвостом не вильнёт — пригрелся. А на воле — студёно.

Прибежали в овин девушки, ногами потопали.

— Идёмте в подлаз греться.

Полегли в подлазе, где дымом пахнет, близко друг к дружке, и завели такие разговоры, что — стар овинник, а чихнул и землёй себе глаза запорошил.

— Что это, подружки, никак, чихнуло? — спрашивают девушки.

Овинник рассердился, что глаза ему запорошило, протёр их лапой и говорит:

— Ну-ка, иди сюда, которая нехорошие слова говорила!

Каждая девушка на себя подумала, и ни одна ни с места.

— Ну что же, — говорит овинник, — или мне самому вылезать?

И стал из норы пятиться…

Тут одна догадливая да бедная, сирота Василиса, взяла ржаной сноп, прикрыла его платком и поставила впереди всех.

— Вот тебе!..

Выскакнул из норы овинник, пыхнул зелёными глазами и стал сноп рвать, а девушки из овина выбежали и — на деревню, а та, что подогадливее — Василиса, — схоронилась за ворох соломы и говорит оттуда:

— Чёрный кот, старый овинник, что со мной делаешь, — всё тело моё изорвал.

Фыркнул овинник, отскочил и кричит:

— Очень я злой, погоди — отойду, тогда разговаривай.

Подождала Василиса и говорит опять:

— Отошёл?

— Отхожу, сейчас, только усы вылижу… Ну, что тебе надо?

— Залечи мне раны…

Фыркнул кот в землю, лапой пыль подхватил и мазнул по снопу.

А сноп так и остался снопом…

— Так ты меня обманула? — говорит кот, а самому уж смешно.

— Обманула, батюшка, — отвечает ему Василиса, — прости, батюшка, да смилуйся — найди мне

жениха, чтобы краше его на свете не было.

— Уж больно я сам-то урод, — говорит овинник. — Ну, да ладно. — И ударился о землю, и стал из чёрного кота — кот белый, и хвостом Василису пощекотал…

— Чем тебе не жених?

— Нет, — говорит Василиса, — за кота замуж не пойду; дай мне жениха настоящего.

Подумал овинник, походил по овину, — мыша походя сожрал. Вдруг подскочил к ржаному снопу, заурчал, облизал его, чихнул три раза и сделался из снопа — человек.

— Получай жениха, — говорит Василисе овинник. — Смотри — от сырости береги, а то прорастёт.

Василиса взяла человека за руку и вывела его из подлаза, из овина на лунный свет. И встал перед ней молодой жених в золотом кафтане, в шапке с пером. Глядит на Василису и смеётся. Василиса поклонилась ему в пояс — и они пошли в избу.

Прошло с той поры много дней. Лёг снег на мёрзлую землю, завыли студёные ветра, поднялись вьюги.

Соломенный жених живёт у Василисы, похаживает по горнице, поглядывает в окошечко и всё приговаривает.

— Скучно мне, темно, холодно…

И стала Василиса замечать, что жених её портится, позеленело у него на кафтане и на сапожках золото, ночью стал кашлять, стонать во сне. Раз утром слез с кровати, подпоясался и говорит:

— Уйду, Василиса, искать тёплого места.

— А я-то как же?..

— Ты меня жди.

И ушёл, только снег скрипнул за воротами.

Жених идёт, весь от инея белый. Кругом него мороз молоточками постукивает — крепко ли закована земля, не взломан ли синий лёд на реке; по деревьям попрыгивает, морозит зайцам уши.

Хочет жених от мороза уйти, а молоточки всё чаще, всё больнее постукивают, — по жилам, по костям. Остудился жених, а степь бела кругом, ровна.

И повисло над степью, над самым краем солнце, красное и студёное. Жених к солнцу бежит, колпаком машет:

— Погоди, погоди, возьми меня в зелёные луга.

И добежал было. Вдруг выскочил из-под снега большой, косматый, крепколобый волк, доскакал большим махом до солнца, обхватил его лапами, прижался пузом, — с одной стороны, с другой приловчился и вонзил клыки в алое солнце.

Завизжали, застучали ледяные молотки, потемнела степь, завыл мёртвый лес. Соломенный жених бежать пустился, упал в снег и не помнит, что дальше было.

Василиса, когда одна осталась, пораскинула бабьим умом и пошла к старому овиннику. А чтобы он не очень сердился, сунула под нос ему пирог с творогом и говорит:

— Жених от меня убежал, должно быть, замёрз, очень жалею его.

— Ничего, — отвечает ей овинник, — жених твой в озимое пошёл.

— А я-то как же?

— Найдёшь ты жениха в чистом поле, ляг с ним рядом, а что дальше будет — сама увидишь.

Пошла Василиса в поле, долго шла, не день и не два. Видит — большой сугроб. Разрыла его руками, видит — лежит под снегом жених.

Упала на него Василиса, омочила лицо его слезами; жених не шевелится.

Тогда легла она с ним рядом и стала глядеть в зимнее белое небо.

Снег Василису порошит, молоточки в сердце бьют, обручи набивают на тело, и говорит Василиса:

— Желанный мой.

И чудится ей — голубеет, синеет небо, и из самой его глубины летит к земле, раскаляясь, близится молодое, снова рождённое солнце.

Заухали снега, загудели овраги, ручьи побежали, обнажая чёрную землю, над буграми поднялись жаворонки, засвистели серые скворцы, грач пришёл важной походкой, и соломенный жених открыл сонные синие глаза и привстал.

Проходили мимо добрые люди, сели на меже отдохнуть и сказали:

— Смотри, как рожь всколосилась, а с ней переплелись васильки-цветы…

Душисто…

Проклятая десятина

Клонит ветер шёлковые зеленя, солнце в жаворонковом свисте по небу летит, и от земли идёт крепкий, ржаной дух.

Одна только невсхожая полоса с бугра в лощину лежит чёрной заплатой — десятина бобыля…

У десятины стоит бобыль; ветер треплет непокрытую его голову.

— Эх, — говорит бобыль, — третий год меня мучаешь, проклятая! — Плюнул на родную землю и пошёл прочь.

Проходит неделя. В четверг после дождя встречает бобыля шабер и говорит ему:

— Ну, брат, и зеленя же у тебя, — все диву даёмся, ужо заколосятся…

— Врёшь! — сказал бобыль… И побежал на свою десятину.

Видит — выпустили зеленя трубку, распахнули лист, и шумит усатый пшеничный колос.

На чудо не надивуется бобыль, а кошки сердце поскрёбывают: зачем проклинал родную землю.

Собрал бобыль урожай сам-тридцать; из пудовых снопов наколотил зерна, и муку смолол, и замесил из первого хлеба квашню, и лёг подре-

мать на лавке…

Ночь осенняя бушевала ледяным дождём, хлопали наотмашь ворота, выл в трубе ветер.

В полночь поднял бобыль голову и видит — валит из квашни дым. Надувшись, слетела покрышка, и поползло через края проклятое тесто, рассыпалось на полу землёй…

Смекнул бобыль, что с мукой-то неладно, повёз мешки в город к старому пекарю…

Пекарю муку эту продал, деньги зашил в шапку; потом шапку распорол и деньги все пропил, и, когда домой собрался, не было у него ни денег и ни подводы, — один нос разбитый.

Пекарь в то же время замесил из бобылевой муки кренделя, поставил в печь и, когда пришло время, — вытащил на лопате не подрумяненные кренделя, а такие завитуши и шевырюшки, что тут же обеспамятел и послал жену к дворянину продать муку за сколько даст.

Дворянин сидел в саду, одной рукой держал наливное яблочко, другой писал записки.

— Что тебе, милая? — сказал дворянин тонким голосом и прищурился.

— Насчёт пшеничной муки, — сказала пекарева жена, — старик-то мой больно плох…

Купил дворянин в долг проклятую муку и при-

гласил детей дворянских пирожки с вареньем кушать.

Под сиреневым кустом сели дворянские дети, взяли каждый по пирожку и откусили, а в пирожке лапти — крошеные, старые онучи, щепки, — всякая дрянь.

Побросали дворянские дети пирожки и подали на дворянина в суд.

Прослышал про всё это дело король и сказал:

— Я их всех сам буду судить.

И встали перед светлые его очи: дворянин, пекарь и бобыль… Бобыль как встал, так и глаза разинул и босой ногой почесал ногу.

Король велел объявить всё, как было. Выслушал. Державой и скипетром потряс и говорит:

— Проклял ты, бобыль, родную землю, и за то тебе будет наказание великое.

И приказал мужика отвести вместе с мукой на проклятую десятину, чтобы всю муку приел… Так и сделали… Посадили бобыля посреди его земли и ковшом в рот стали муку сыпать. Три раза попросил бобыль водицы, целую меру приел.

Приел, и распучило. Руки растопырились и одеревенели, через колени на землю поплыл живот, и полезли из бобыля шипы, а волосы стали дыбом, как репей.

Кругом бобыля порос густой и непролазный бурьян по всей десятине.

И долго спустя слышали в колючих порослях — жевало и ухало: то, сидя на земле, ел и проесть не мог проклятую муку проклятый бобыль.

Звериный царь

У соседа за печкой жил мужичок с локоток.

Помогал соседу кое-чем, понемножку. Плохое житьё на чужих хлебах.

Взяла мужика тоска, пошёл в клеть; сидит, плачет. Вдруг видит — из норы в углу высунулась мордочка и повела поросячьим носом.

«Анчутка беспятый», — подумал мужичок и обмер.

Вылез анчутка, ухо наставил и говорит:

— Здравствуй, кум!

«Какой я ему кум», — подумал мужичок и на случай поклонился.

— Окажи, кум, услугу, — говорит анчутка, — достань золы из-под печки; мне через порог перейти нельзя, а золы надо — тёщу лечить, — плоха, объелась мышами.

Мужичок сбегал, принёс золы, анчутка его благодарит:

— За службу всыплю я тебе казны, сколько в шапку влезет.

— На что мне казна, — отвечает мужичок, — вот бы силой поправиться!

— Это дело пустое, попроси звериного царя…

И научил анчутка, как к звериному царю попасть и что говорить нужно.

Мужичок подумал — всё равно так-то пропадать, и полез в крысиную нору, как его учили.

Там темно, сыро, мышами пахнет. Полз, полз — конца не видно, и вдруг полетел вниз, в тартарары. Встал, почесался и видит: вода бежит и привязана у берега лодочка — с малое корытце.

Сел мужичок в лодочку. Отпихнулся и завертелся, помчался — держи шапку.

Над головой совы и мыши летают, из воды высовываются такие хари — во сне не увидишь.

Наконец загорелся свет, мужичок пригрёб к берегу, выпрыгнул на траву и пошёл на ясное место. Видит — высоченное дерево шумит, и под ним, на семи шкурах, сидит звериный царь.

Вместо рук у царя — лопухи, ноги вросли в землю, на красной морде — тысяча глаз.

А кругом — звери, птицы и всё, что есть на земле живого, — сидят и на царя посматривают. Увидал мужичка звериный царь и закричал:

— Ты кто такой? Тебе что надо?

Подошёл мужичок, кланяется:

— Силешки бы мне, батюшка, звериный царь…

— Силу или половину?

— Осьмухи хватит.

— Полезай ко мне в брюхо!

И разинул царь рот, без малого — с лукошко.

Влез мужичок в звериный живот, притулился, пуповину нашёл, посасывает.

Три дня сосал.

— Теперь вылезай, — зовёт царь, — чай, уж насосался.

Вылез мужичок, да уж не с локоток, а косая сажень в плечах, собольи брови, чёрная борода.

— Доволен? — спрашивает царь. — Выйдешь на волю, поклонись чистому полю, солнцу красному, всякому жуку и скотине.

И дунул. И подхватили мужика четыре ветра, вынесли к мосту, что у родного села.

Солнце за горку садится, стадо гонят, идут девки…

Подбоченился мужик и крикнул:

— Эй, Дунька. Акулина, Марья, Василиса, аль не признали?

Девки переглядываются.

А мужик тряхнул кудрями.

— Теперь, — говорит, — пир горой. Посылай за свахой. Я теперь самого звериного царя меньшой сын.

Девки так и сели. А мужик выбрал из них самую румяную да на ней и женился.